

Лев Кузьмин

КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК







Алев Кузьмин

КЛЮЧИК- ЗАМОЧЕК

Рассказы
и
маленькие повести



Рисунки
И.Шипулина

Москва
„Детская литература“
1986



- Кузьмин Л. И.**
K89 **Ключик-замочек: Рассказы и маленькие повес-**
ти/Рис. И. Шипулина. — М.: Дет. лит., 1986. — 160 с.,
ил.

В пер.: 55 к.

В книгу входят рассказы и маленькие повести о событиях давно минувших и современных. Главные её герои — дети города и деревни. В книге рассказывается о дружбе взрослых с ребятами, об уважительном отношении к труду, к товарищам, о красоте русской природы.

К 4803010102—228 281—85
M101(03)86

P2



ПЧЕЛКА

гражданская война кончилась, но покоя в стране ещё не было: то недобитые банды объявлялись там и тут, то из-за границ враг-капиталист опять грозил, и мой отец остался служить в Красной Армии.

А вот дедушка вернулся домой и стал работать в нашем тихом, глуховатом и оттого почти беспроезде краю по устройству новых дорог и мостов.

Ну а поскольку весь этот край был лесным, сельским, то и жили мы с дедушкой невдали от уездного городка в деревне, и всё у нас там было по-деревенски. Дом — прямо с окошками на небольшое поле, во дворе — куры, корова, а тут вот даже появилась и лошадь.

Лошадь в уездном исполнительном комитете дедушке выдали для служебных поездок.

Не очень молодая, но всё ещё лёгкая, складная, была она светло-золотистой масти, и звали её именем тоже лёгким — Пчёлка. По красоте, по стати своей она с местными Саврасками да Карюхами ясно что ни в какое сравнение не шла, но — вот беда! — имелся у Пчёлки один досадный норовок.

До того как попасть в распоряжение исполкома, а потом и к нам, Пчёлка тоже побывала в военном строю. Да не просто побывала, а служила, хаживала в походы; и вот теперь, когда её списали по возрасту, времечко то, своё боевое, и должно быть лучшее, она забыть, как видно, всё не могла.

Упряжную седёлку, так же как, наверное, когда-то широкое кавалерийское седло, она принимала на себя спокойно и даже с удовольствием. Тесный хомут тоже позволяла на себя накинуть, но — тут поддавалась уже с фырканьем и сердитым взбрасыванием головы. А когда наконец дедушка начал её заводить в оглобли разъездного тарантаса, то вот здесь-то Пчёлка весь норов и оказывала целиком.

На тарантас, на эту штатскую старенькую повозку, она взглядывала своими чёрно-яркими глазищами с полнейшим презрением и вставала в оглобли не вдоль, не так как надо, а круто поперёк.

Дедушка отводил Пчёлку, снова заводил, а она опять вставала поперёк.

По получасу, а то и больше дедушка, бывало, с ней бьётся, пока запряжёт, и понятно, что он очень от этого сердился. Всё чаще и чаще и с каждым разом громче, решительнее кричал дедушка по утрам на весь двор:

— Хватит! Надоело! Верну чертовку начальству, пускай меняют на другую лошадь.

И тем бы оно, наверное, и закончилось, да вот вышел вскоре случай, после которого дедушка про обмен Пчёлки не то что в сердцах кричать, а даже и думать перестал.

А случай-то был вот какой.

По младости, по мальчишеству тогдашнему своему, я всё просился у дедушки: «Возьми да возьми меня с собой. А то я твоей работы ещё ни разу и не видел. Ты вот всё говоришь да говоришь про неё, а какая она — мне не показывал!» И прямо скажу, такие мои просьбы дедушке нравились, он от них не отмахивался и в один из осенних вечеров за ужином мне и объявил наконец:

— Что ж, завтра по холодку поедем. Готовься. Ложись нынче пораньше, не просни.

И все, кто тут был, почти все сразу: обе мои тётки — мамы младшие сёстры, да и сама мама — тоже за меня обрадовались, а дедушку похвалили:

— Правильно! Прокати Саньку... Он уж вон какой! Почти школьник, и съездить с тобой вместе ему будет интересно.

Только бабушка перестала разливать по стаканам кипятка из нашего медно-рыжего и пузатого, словно буржуй с картинки, самовара. Она вздохнула с некоторым сомнением:

— Лошадь дурная, дорога не ближняя... Нет, лучше бы ты, дедко, не спешил. Вот когда Пчёлку поменяешь, тогда мальчишку с собой и возмёшь.

Но тут мама, тётки и даже сам дедушка за Пчёлку заступились. Они сказали, что ехать — не запрягать, что при езде Пчёлка никаких таких штук почти не выкидывает, и бабушка всё-таки согласилась.

Более того, когда я стал разыскивать к завтрашнему дню свои кожаные сапожки, то бабушка нашла их в углу под лавкой даже раньше меня. А когда нашла, то внимательно осмотрела, укоризненно покачала головой, нагребла сажки из печки в глиняный черепок и, плеснув туда водицы, обмакнула в эту самодельную ваксу тряпочку:

— На! Сапожки почисти... Дедушка работает с людьми и выезжать на люди в такой загвазданной обуви нехорошо.

А наутро, когда я, умытый, причёсанный, в надраенных сапожках, в тёплой домотканой курточке — то есть весь-весь, как новенький пятачок, выкатился на крыльцо, то увидел Пчёлку уже в оглоблях.

Правда, по её виду и по дедушкиному виду было ясно, что они опять тут спозаранку не ладили. Дедушка сердит-

то утыкал сено в тарантасе, бормотал своё: «Хватит! Терпенья больше нет!», а Пчёлка сердито косилась на дедушку, отфыркивалась.

Но, взглянув на меня развесёлого, поглядев на всю провожающую нас родню, которая, шумя и теснясь, тоже высыпала на крыльцо, дедушка уминать руками сено перестал, огладил на хмуром лице усы, бороду и улыбнулся.

Он и сам выглядел празднично. На плечах у него, разумеется, всё та же, за всё про всё единственная, ещё фронтовая шинелишка, но зато вместо солдатской шапки он надел сегодня почти новый картуз с маленькой на твёрдом высоком околыше жестяной лопатой и с таким же, наперекрёст, крохотным топориком.

Этот картуз со строительным значком дедушка надевал лишь тогда, когда отправлялся к начальству. А теперь вот надел, как я понял, из-за меня, из-за нашей первой вдвоём рабочей поездки. И как только я об этом подумал, так мне стало ещё веселей. И я почти сам, почти без дедушкиной помощи вскарабкался в тарантас, угнездился на сене и, вспомнив, как прощается дедушка с роднёю при всегдашних своих отъездах, приподнял и сам свою фуражку над головой, отвесил глубокий поклон маме, поклонился бабушке и обоим свои тётушкам.

Они все засмеялись, ответно мне закивали, и тут мы с дедушкой поехали.

Пчёлка стронула тарантас на удивление охотно, бойко, и вот мы уже за нашим крыльцом, за двором, в пути.

Деревня ещё вовсю спала. Желтоватое пятно раннего солнышка едва просвечивало сквозь белый туман. В тумане казалось, что это едем не мы, а мимо нас сами, будто сделанные из холодного дыма, проплывают дома, сараи, приземистые изгороди на околице деревни.

А потом мы словно бы опустились куда-то глубоко вниз, и запахло влажным ельником, и плывущие мимо нас клубы тумана стали ещё непрогляднее. Только чёткое чмокание подков, да размеренное качание Пчёлки в оглоблях, да шумное и длинное переливание луж под колёсами тарантаса показывали, что мы тоже всё-таки куда-то двигаемся.

Продолжалось это, может, час, а может, и два. Я тара-



шился, таращился на все стороны, наконец не вытерпел:

— Где же, дедушка, работа твоя? Ничего не видать. Заехали, как в молоко.

А дедушка по-прежнему весело шевельнул вожжами и очень весело ответил:

— Молоко — что? Молоко — пустяк! Впереди ещё кисель будет. Кисель-трясель, после которого мою работу и показывать не надо. Сам всё почувствуешь, сам всё поймёшь.

И тут, действительно, под копытами Пчёлки и прямо под нами началось такое вязкое хлюпанье, тарантас так заподкидывало и замотало из стороны в сторону, что я ухватился одной рукой за дедушкину шинель, другою — за плетушку тарантаса, но всё равно — раз, и ещё раз, и ещё, и ещё — чуть не вылетел прямо в самую хлябь, прямо в самую грязь.

А дедушка, знай, ухмылялся:

— Во-от... Вот она старая-то матушка-дорожка, во-от... Запоминай её! А как трястись будет уж невтерпёж, так выедем на новую дорогу, на мою. А вернее, на артельную... Мы тут с тяпневскими мужиками такой участок отгрохали, хоть пляши!

И, кренясь вслед за тарантасом то туда, то сюда, а порой

даже и выскакивая, и плюхаясь полами шинели в жёлтых лавинах, и подпирая экипаж сбоку, дедушка принялся на все лады расхваливать предстоящий нам вскоре другой путь. А особенно — строителей этого пути, тяпневских мужиков.

Он, обшлёпанный грязью чуть ли не до самых бровей, кричал мне радостно:

— Тут вся соль, Санька, в том, что мне их агитировать почти не пришлось! Они сами добровольно для этого дела артель сколотили. Сколотили да так навалились, что вот — пожалуйста! — сейчас увидишь и результат.

Дедушка в честь тяпневской строительной артели заливался ну прямо-таки соловьём, а я лишь кивал да помалкивал. А я ведь про артель-то да про стройку не всё ещё и понимал тогда, а главное, боялся: как рот раскрою, так тут же на первом толчке-ухабе язык свой напрочь и откушу.

А ещё я переживал, что Пчёлка потянет, потянет по здешним ухабам не слишком-то ею любимый тарантас да, не довезя до хвалёного тяпневского участка, и остановится.

И вот она задрала голову и встала. Но встала всё же по причине иной.

Где-то далеко впереди нас, в самом-самом тумане как будто бы ржанула другая лошадь, и вот Пчёлка замерла, навестила уши. Но отвечать той, чужой, дальней лошади всё же не стала, опять налегла на хомут, зашлёпала по грязи.

А дедушка сказал ещё радостнее:

— Наверняка это едут на работу тяпневские плотники! Вот видишь, какие они молодчаги... Не хуже нас по самой рани поднялись. На шестой версте на мосту перила ещё не поставлены, так вот они, значит, доделать и торопятся. Сейчас я тебя им представлю. А-атличнейшие мужики! Особенно Коля Кряж. Он одним лишь топором может хоть что сотворить, даже любую замечательную игрушку. Так ты его, Санька, непременно об этом попроси... Коля страсть как любит, когда его просят, и он тебе вмиг из любой попавшейся чурки оборудует какой-нибудь фокус-мокус!

И тут сначала под подковами Пчёлки, а затем сразу и под железными шинами колёс захрустел крупный песок — дорога вдруг стала точно такой, какой её дедушка мне и расписывал: сухой, гладкой, просторной.

Лишь белый туман всё ещё и здесь клубился, но и в тумане было видно, что новая дорога ровна, широка, хороша.

Пчёлка безо всякого на то понукания ободрилась, покатила тарантас быстрее. Дедушка форсисто поправил картуз со значком. Я, ожидая скорой встречи с Колей Кряжем, пошоркал пучочком сена свои с утра надраенные, а теперь вновь обляпанные сапожки.

А навстречу Пчёлке потянул ветерок. Пар над дорогой пошёл ключьями. И тут я поднял голову от сапожек и сначала смутно, а потом ясней увидел новый высокий, щедро усыпанный вдоль недостроенных перил сосновою щепою мост, а на мосту — верховых.

Я их увидел, гляжу на них, а они стоят вдвоём, не двигаются. Лошади их смотрят в нашу сторону, они сами тоже смотрят в нашу сторону, но смотрят при этом почему-то так, как будто нас тут на дороге и нет. Никакого знака-приветствия они нам не подают, а сидят себе сутулятся в сёдлах и не шелохнутся. Я удивился, но дедушке говорю:

— Вот и плотники твои! Только странные какие-то... Замерли, как столбы. И который из них Коля Кряж? Тот, что поздоровей, да?

А дедушка и сам их, конечно, видит, да ничего мне про них больше уж не объясняет. Вместо этого натягивает и натягивает вожжи и этак чудно, почти полушёпотом, подаёт голос Пчёлке:

— Тпру... Тпру... Тпру...

Я глянул на дедушку, а лицо у него серее шинели стало, и слышу, он и мне шепчет:

— Нишкни, Санька... Это не плотники...

И шарит у себя под ногами в сене, что-то там быстро ищет, спешит, а в это время сзади на меня, всё равно как с неба, вдруг дохнуло горячим-прегорячим, и раздаётся насмешливый голос:

— Не ищи, Крылов, не старайся! Сам знаешь, ничего у тебя там нет. Отмахнуться тебе нечем... Смело ездись — на Советы работаешь! Вот и доездили, доработался.

И тут я хоть и обмер весь, и глянуть назад боюсь, но краем глаза вижу: нависла, дышит над самым моим плечом лошадиная морда с длинными волосками в розовых горячих

ноздрях, а под околыш дедушкиного парадного картуза, прямо дедушке в затылок уткнулся, потом отодвинулся, потом опять рядом закачался воронёный ружейный ствол.

Это, значит, с тылу к нам, к самому задку тарантаса подстроился ещё кто-то верховой, и вот он-то и говорит насмешливым голосом. И как заговорит, как, должно быть, наклонится у себя там наверху в седле, так на меня спиртом и несёт. И от него наносит, и от коня потным, горячим запахом наносит, и от всего этого мне сделалось муторно, стало ещё страшней, а голос всё погоняет:

— Давай, давай, Крылов, праведный человек, на мост въезжай! Ты его для новой власти мостил, да не домостил... Вот мы тебя с потомком твоим заместо перил и уложим.

А те двое ждут, стоят, всё не шевелятся. Только лошадей теперь повернули поперёк моста, голова к голове. И под руками у них на коленях тоже что-то взблёскивает.

Этот же, сопровождающий наш и, должно быть, главный, подталкивает и подталкивает дедушку ружьём:

— Ну, может, Крылов, мы тебя укладывать и погодим... Может, маленько и помилуем. Если на коленочках перед нами поползаешь! Поползаешь ведь, Крылов, а?

А дедушка молчит, лицо у дедушки каменное. Лишь правый ус на щеке, как бы совершенно сам, часто и часто дёргается, а всё остальное лицо — камень. И кулаки с широкими в них вожжами тоже будто каменные. Только вот плечом он от меня едва заметно отклоняется да отклоняется, да вдруг с локтя, с полуоборота как даст по ружью и по лошадиной морде, как вскочит, как швырнёт меня под ноги себе, да как закричит ужасным голосом Пчёлке: «Да-ё-ошь!» — так всё тут сразу и смешалось!

Ружьё у конвоира, должно быть, вылетело, потому что он тоже что-то заорал, а Пчёлка, словно её ошпарили кипятком, рванула и со всем нашим грузом-тарантасом понеслась прямо на тех, на двоих.

Не успели они ахнуть, Пчёлка врезалась меж стоящих поперёк моста лошадей, и одна из них, ушибленная в грудь торцом оглобли, скалясь и визжа, вздыбилась такую свечой, что я из-под низу, со дна тарантаса увидел вдруг все стёсанные до блеска гвозди на её подковах.



Она чуть было не рухнула обеими этими подковами к нам в тарантас, да тяжёлый всадник и седло перевесили, и, заваливаясь на спину, она сама и её седок начали медленно падать за неограждённый край моста в дымную от глубины и от утреннего холода речку.

А что было со вторым всадником, а тем более с тем, который прозевал нас, я видеть уже не мог.

Мост под нами пробренчал гулко и коротко. Пчёлка понеслась теперь по свободной дороге так, что сквозь плетушку тарантаса засвистел воздух. А дедушка всё не давал мне поднять головы. Он больно держал меня за плечо: он, должно быть, боялся, что вслед нам затрещат выстрелы, и вот всё загораживал меня собой, всё подняться мне не давал.

Но выстрелов не раздалось, вслед нам летели только угрозные крики, да и те скоро смолкли. Не было и погони.

И вот, слышу, Пчёлка затопала реже, сильно отфыркиваясь, перешла на шаг, а дедушка перестал меня удерживать.

— Вставай... Всё! Струсили они стрелять... Тут Тяпнево близко... А вон и сами тяпневские плотники легки на помине.

И смотрю, а из-за поворота, из-за просветлевших совсем ёлок выкатывается нам навстречу целая ватага мужиков с плотницкими ящиками, с длинными и гибкими на плечах пилами. Солнышко на стальных полотнах пил зеркально играет, так и отсвечивает. Мужики ещё издали нам машут, кричат что-то весёлое, потому что ничего ещё, конечно, и не подозревают. Но когда с нами сошлись, да посмотрели на шумно дышащую Пчёлку, да как глянули на серьёзные наши лица, то сразу смолкли.

А дедушка снял картуз, отёр расшибленным кулаком мокрый лоб, сказал:

— Ну, ребята, что сейчас было — пером не описать...

— Что такое? Что? — зашумели мужики, а дедушка тут им и объяснил:

— Вот, мол, что... Банда!

Лысый, широкогрудый, в тонкой розовой, несмотря на утренний холод расстёгнутой чуть ли не до пояса рубаше и такой весь удивительно квадратный мужик, что я мигом при-

знал в нём Колю Кряжа, сразу нахмурился, сразу потянул из ящика топор.

— Где они?

Другие мужики тоже полезли за топорами, а дедушка сказал:

— Ищи ветра в поле. Банда — она банда и есть. Раз не удалось, ждать ловцов на свою голову не будет. — Дедушка усмехнулся, добавил: — Только ведь они думают, что и мы по избам попрячемся. Дорогу строить забросим.

— А вот это им — шиш! — моментально ответил Коля Кряж, подхватил с дороги ящик с инструментами, махнул мужикам: — Айда на мост! Торчать тут нечего...

Он им махнул, дедушку же спросил осторожно:

— А ты куда сейчас, Андреич? С нами? Или пока что в Тяпнево на отдышку?

Но дедушка принялся разворачивать Пчёлку, ответил:

— Отдыхимся, когда наработаемся.

И все мужики до единого тут дедушке и мне заулыбались, все разом заговорили:

— Вот это так! Вот это по-нашему! С тобой мы, Андреич, этот мост начали, с тобой да с твоим Санькой сегодня и завершим.

А когда шумною опять ватагою мужики двинулись по дороге вниз, то все теперь старались шагать рядом с Пчёлкой, все похлопывали её, гладили по золотистым бокам, все Пчёлку хвалили:

— Ну и лошадь тебе досталась, Андреич, — любому коню конь! Смотри, дала такой рывок, а — сухонькая. Другая бы в мыле вся была, а эта — нет! И толковая она у тебя, ну прямо как даже не всякий человек. Каким манером, ты рассказываешь, в атаку-то её бросил?

И дедушка, в который уж теперь раз, снова объяснял:

— А вспомнил, что она обстрелянная, боевая, и по-фронтному, по-конармейски крикнул: «Даёшь!»

И опять все на ходу улыбались, все покачивали одобрительно головами, и лишь Коля Кряж всё молчал и молчал.

Он как положил Пчёлке на густую гриву корявую свою ладонищу, так всё, не отнимая руки, рядом с лошадей и вышагивал.

Он шёл, помалкивал, о чём-то думал.

И вот наконец обдумал, видно, всё до конца, поравнялся с тарантасом, хлопнул дедушку по колену, отчаянно и весело уставился ему в глаза:

— Ты Пчёлку менять собираешься, так давай меняй на моего Вороного! Хочешь, сейчас в деревню сбегая, Вороного приведу?

А дедушка тоже этак весело глянул на Колю и ответил совершенно для Коли, для меня и для всех неожиданно:

— Ты что, Коля-Николаша? Ты что, чудак? Да откуда до тебя такая несуразица докатилась? Да разве я Пчёлку сменяю на кого? Ни в жизнь, ни за что, ни за какие коврижки!

Вот так вот Пчёлка у нас и осталась и возила дедушку на работу ещё немало лет. И никогда я больше не слышал, чтобы дедушка зашумел на неё или хотя бы слегка рассердился. А про тот случай он тоже почти не вспоминал. Лишь только один раз, когда к нам в деревню пришло сообщение, что банду выследили ребята — уездные комсомольцы и банде настал конец, он сказал:

— Так быть и должно. Наша власть молодая, да ничуть не пугливая.





ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!

1

тарая бревенчатая школа темнеет среди голубых мартовских снегов. На покатую, сугробную, всю в длинных сосульках кровлю падают лёгкие тени сосен. По вешней погоде снег с влажных веток обрушился, деревья стоят лохматые, а над ними — синь, солнышко и кучевые прохладные облака.

В этой деревенской школе интернат для детей-ленинградцев.

Ленинградцы ждут здесь конца войны вот уже второй год. К сельскому тихому житью, к глубоким снегам ребятишки давно привыкли, как давно и крепко привыкли друг к другу.

Здание школы небольшое, и жильцов тут немного. Все они — малыши в возрасте от пяти до девяти лет. И только двое — Елизаров и Кукин — чуть постарше. Единственная воспитательница и учительница ребят, маленькая решительная женщина в старомодном пенсне, Павла Юрьевна, занимается с Елизаровым и Кукиным отдельно, по программе третьего класса. Таким своим особым положением оба мальчика гордятся, держатся всегда вместе, даже кровати-раскладушки в спальне у них стоят рядом.

Но всё же полного равенства в этой дружбе нет. Кукин находится у Елизарова в некотором подчинении. Правда, в подчинении добровольном. Он очень уважает Сашу Елизарова. Уважает за высокий не по годам рост, за умение произносить по утрам звонко и весело, на всю спальню, английское приветствие: «Гуд мorning!», за удивительную начитанность, за ловкость в драке, если таковая случится с деревенскими, ужасно напористыми в бою мальчишками, уважает за всегдашнюю справедливость, за нежадность и за многое, многое другое, даже за прическу «чубчик».

Прическа кареглазому говорливому Елизарову очень идёт. Он храбро её отстоял перед Павлой Юрьевной, когда всех мальчиков стригли наголо, «под ноль».

Митя Кукин отлично понимает, что всех этих замечательных качеств у него самого нет и, наверное, никогда не будет.

Митя знает, что он хотя и силён, и крепок, да слишком низкоросл. Он знает, что его круглое девчоночье лицо некрасиво залепили веснушки, что в случае чего сдачи он дать никому не может — ему для этого надо рассердиться. А сердиться Митя не умеет совсем. Нрав у него добродушный, покладистый, как у дворового щенка.

Но это всё мелочи. Главная причина преклонения Кукина перед Елизаровым та, что у Саши есть отец, а у Мити отца нету.

А вот было время, когда и Саша Елизаров начал считать себя сиротой. Начал считать вот почему. Сашин отец — фрон-

товик, раньше на свою ленинградскую квартиру письма присылал часто, но когда Сашу перевезли в интернат, когда Сашина мама ушла на фронт, потому что была военным врачом, то письма от отца приходиться перестали. Они не приходили долго, почти целый год. От мамы, из окружённого фашистами Ленинграда, весточки были тоже редкими, и Саша очень волновался, а про отца думал, что он погиб. Думал, но не верил. И Митя вместе с ним тоже не верил. Митя говорил:

— Вот погоди, Сашок, однажды утречком ты проснёшься, и на тумбочке у тебя будет лежать письмо...

И так оно всё и случилось. Прошлой осенью, как раз в день первого сентября, Саша проснулся, глянул, как всегда, на тумбочку, а там — письмо. Настоящее треугольное воинское письмо!

Митя письмо тоже увидел. И хотя письмо было не ему, но он обрадовался так же, как будто письмо получил сам, и побежал вместе с приятелем по всей школе, закричал:

— Ура! Сашкин папка нашёлся! Сашкин папка нашёлся! Он в госпитале раненый лежал.

А потом вдруг на душе у Мити сделалось ни с того ни с сего неприятно. Он затосковал, кинулся в тёмный чулан под чердачную лестницу, обнял там связку берёзовых черенков для метел и — заплакал. Заплакал от жалости к себе.

Он заплакал потому, что у него, у Мити Кукина, отец уже никогда не найдётся. Отец у Мити никогда никуда не пропал, он просто давным-давно умер, когда Митя был ещё маленьким.

А вот мать и сестрёнки у Мити живы, но тоже куда-то исчезли. Случилось это в самые первые дни войны.

До того как началась война, жил Митя с матерью и с двумя сестрёнками Дашей и Машей недалеко от Ленинграда в совхозе «Дружная горка», и когда началась эвакуация, то все они поехали в товарном, переполненном людьми поезде на Урал.

Но Митя до Урала не доехал. Доехал он только до какой-то ленинградской сортировочной станции. На этой станции поезд стоял долго: была жара, всем хотелось пить. И Митя взял пустой чайник и, никому ничего не сказав, пошёл к водонапорной колонке за водой.

У колонки шумела толпа. Все лезли, кричали, толкались, Митя тоже стал пробиваться к самому крану. И когда проби́лся, и набрал полный чайник, и пришёл на перрон, то на том месте, где стоял его поезд, увидел только пустые рельсы. Поезд ушёл, увёз неизвестно куда маму, увёз Дашу и Машу, и Митя остался один с полуведёрным чайником в руках.

Потом к Мите подошла чужая тётенька с красной повязкой на рукаве, стала выпрашивать что да как, и на другой день Митя оказался в детском эшелоне и вот приехал сюда, в интернат.

Чайник тоже здесь. В нём разносят чай во время обеда, и малыши называют его: «Митин чайник».

Под лестницей Митя плакал недолго. Других укромных местечек в интернате нет. Саша быстро его разыскал, вошёл в темноту, услышал жалостное Митино сопение и сразу всё понял. Он погладил Митю по спине, по испачканной в пыли курточке и сказал:

— Не плачь, Митя. Вот увидишь, найдутся и твои, как нашёлся мой папа... Тут главное: терпеть, терпеть и — вытерпеть. Ты же сам так говорил.

2

Письма Саше Елизарову стали приходить чуть не каждую неделю, и в один прекрасный день Павла Юрьевна положила на Сашину тумбочку не всегдашний помятый треугольник, а настоящий конверт.

Он был твёрдый, довольно толстый, и в правом углу на нём была напечатана зелёная крошечная марка с портретом колхозницы в летней косынке. По всему было видно, в конверте находится что-то очень важное.

Павла Юрьевна, наверное, думала так же. Она положила письмо и стала дожидаться, когда Саша его распечатает. А Саша конверт осторожно разорвал, и оттуда выпала большая, с глянцевым блеском фотокарточка.

Саша так прямо и вцепился в неё. Он ведь столько времени не видел отца, что уже и забывать стал, какое у него лицо, какие у него глаза. Но как только глянул, так отца уз-

нал сразу, в одну секунду. Узнал несмотря на то, что на карточку отец снялся не один, а с товарищем и, кроме того, отпустил усы. Небольшие усы, но густые и очень пышные.

Товарищ отца был тоже усатый, но чуть помоложе и улыбался так, что лукавые глаза его совсем защурились, а из-под чёрных усов блестели великолепные белые зубы.

Отец и его товарищ стояли в обнимку, оба весёлые. И стояли они не просто так, не где-нибудь, а прямо на палубе корабля у стального поручня. И по этому поручню, по краешку железной палубы, видной на фотографии, было совершенно понятно: корабль этот — боевой! И стоят на нём Сашин отец и его друг тоже в полной боевой морской форме. Да мало того что в форме, а на кителях у них у каждого с правой стороны выпукло поблёскивает по новенькому звёздному ордену. Наверное, ордена только что получили.

На чистой белой стороне карточки было написано синим карандашом:

«Саше Елизарову от капитана второго ранга С. Елизарова и от лейтенанта Н. Бабушкина.

Враг будет разбит, победа будет за нами! Пусть Гитлер помнит Сталинград, пусть помнит красных моряков на Волге!»

Павла Юрьевна как глянула на фотографию, так сразу похлопала по карману стёганой безрукавки, вынула тонкое, в блестящей оправе пенсне, зацепнула пружинками переносицу и, отнеся от себя фотографию на всю длину руки, произнесла:

— Ох, Саша! Какой у тебя геройский отец... Сразу видно, сталинградец! И лейтенант Бабушкин тоже герой, хотя о своих подвигах они ничего не пишут... Ты, Саша, когда станешь посылать ответ, не забудь поздравить с наградой товарища капитана и товарища лейтенанта от всего интерната и от меня лично.

Она положила фотографию, повернулась к окну, глянула в оконное стекло на себя, как в зеркало, почему-то вздохнула и быстро пошла к двери. А Саша крикнул ей вслед:

— Напишу! Обязательно напишу.

А ещё он громко добавил:

— Май-о-о!

И это на языке североамериканских индейцев значило: «Хорошо! Прекрасно!»

Саша умеет разговаривать не только по-английски, а почти на всех языках всего мира. Правда, из каждого он знает лишь два-три словечка. Он выучивает их не по учебникам, а вычитывает из приключенческих книг, но всё равно Павла Юрьевна однажды назвала его «полиглотом». Назвала при всех, и все интернатские жители сначала смутились, потому как подумали: слово это ругательное. Но когда Павла Юрьевна объяснила, что так называют людей, знающих много иностранных языков, то и Митя, и все малыши стали уважать Сашу ещё больше.

Ответ на письмо с фотографией Саша послал в тот же день. Написал ли он там капитану Елизарову и лейтенанту Бабушкину привет от Павлы Юрьевны — неизвестно, а вот про Митю Кукина написал. Он сам прочитал эти строчки Мите вслух. Строчки были такие:

«У тебя есть друг, и у меня есть друг. Его зовут Митя Кукин. Ему десять лет, и у нас с ним всё вместе. Мы бы с ним тоже снялись на карточку, да фотографа у нас тут нет, и у Мити Кукина никого нет, ни отца, ни матери. А есть у нас только заведующая Павла Юрьевна, завхоз Филатыч и петух Петя Петров. Когда был мороз, Митя прятал петуха под своей кроватью, а ещё Митя колет дрова для кухни, носит воду, а я ему помогаю. Так что снять на карточку нас некому, не обижайся».

Капитан второго ранга Елизаров, конечно, не обиделся. Более того, он и сам в ответном письме прислал Мите поклон, а лейтенант Бабушкин приписал ниже капитанских строчек большими буквами: «Привет тебе, Митя Кукин!»

Митя как увидел приписку, так сразу выхватил письмо из Сашиных рук, отбежал в сторону, прижал письмо к животу и чуть не криком сказал:

— Что хочешь делай, Сашок, а письмо отдай мне! Хочешь, я тебе за него свою новую шапку на твою старую сменяю?

— Не надо мне твоей шапки, — ответил Саша. — Что я, буржуй, что ли, на письмах наживаться? Если надо, так бери...

И вот с тех пор письмо с лейтенантским приветом Митя носит всегда в нагрудном кармане курточки и пересчитывает его не меньше чем по два раза в день: утром, после подъёма, и вечером, перед сном. А когда на стигах появились дырки, Митя подклеил их варёной картошкой и газетной бумагой, и опять аккуратно сложил письмо, и опять убрал в карман.

Митя и сам бы послал лейтенанту Бабушкину письмецо, да начинать переписку первым всё не решался. Писарь он был никудышный, очень боялся наделать в письме ошибок и тем самым испортить у лейтенанта Бабушкина о себе впечатление. Митины успехи за партией не очень-то велики. Он хотя и старается, и плохих отметок у него почти не бывает, но и хорошие проблёскивают редко.

— Середнячок ты у нас, Митя... — нет-нет да и скажет Павла Юрьевна, когда ставит ему очередную тройку в дневник. Ставит, вздыхает, но и тут же спохватывается, начинает утешать: — Ничего, ничего. Порою способности приходят позже. Так случалось со многими умными и впоследствии очень знаменитыми людьми. Главное, чтобы человек был надёжным. А ты, Митя, — человек вполне надёжный. Ты у нас, можно сказать, мужчина в доме! Без тебя с нашим хозяйством мы бы не знали что и делать...

От таких речей Митино конопатое лицо расцветает, белёсые ресницы над зелёными глазами начинают смущённо и в то же время радостно трепетать. Ведь всё, что говорит Павла Юрьевна о Митиных заслугах, — правда.

Как только кончится урок, как только Павла Юрьевна поднимет со стола медный колокольчик с надписью «Дар Валдая» и звякнет им, так Митина круглая, словно шарик, фигурка в затёртом казённом пальтеце и в пушистой шапке-ушанке скатывается с крыльца во двор.

А белый двор усыпан по мягкому, подталому снежку рыжими сосновыми иглами. А сосны над головой стоят чуть не до неба. Воздух сладок, свеж, пахнет по-весеннему ветром, и здесь Митя чувствует себя на полной свободе. Он здесь — хозяин положения, и даже сам Саша Елизаров попадает волей-неволей к нему в подчинение.

Митя хватает с поленицы топор, ставит на попа чурбан-

кругляш, — бац! — бьёт по нему наотмашь, и чурбан разлетается на две половинки.

А Саша тоже берёт топор, тоже ударяет по кругляшу, но «бац!» у него не получается. Чурбан как стоял целёхонек, так и стоит, а лезвие топора глубоко вязнет в сырой древесине.

— Кар-р-рамба! — ругается по-иностранному, кажется по-итальянски, Саша. — Как хоть ты всё это делаешь? Научи!

И Митя учит. Подсказывает, что лезвие топора надо нацеливать не прямо, а чуть-чуть наискосок, что ударять надо резко, без всякого страха, но Саша всё равно при ударе побаивается, трусит промахнуться, удар у него выходит не тот, и в конце концов Митя говорит Саше:

— Ладно... Потом натренируешься. Давай подтаскивай мне чурбаны, я сам переколю. У тебя силы много, да сноровки



нет. Это потому что раньше, у себя дома, тебе работать по хозяйству не приходилось, а мне приходилось... Но ты не расстраивайся и не обижайся! Зато ты учишься вон как здорово. И сам учишься, и мне помогаешь. Вчера за сочинение мне бы, Сашок, и тройки не видать, если бы не ты.

И так всегда. Саша держит первенство по книгам, по учёбе, может придумать какую-нибудь развесёлую игру, а Мите больше нравится колоть дрова, откидывать от крыльца снег, таскать из бочки воду на кухню, и всю эту не очень лёгкую, мужскую работу он выполняет с удовольствием.

Снег, сосны, поленища в снегу, стук ведра о край деревянной бочки напоминают ему далёкую «Дружную горку», напоминают родной дом.

В такие минуты ему кажется, что нет на белом свете никакой войны. Ему кажется, что вот он сейчас обернётся, а по скрипучей снежной тропинке к нему торопливым шагом идёт мать. Она молодая, стройная, очень красивая, на ногах у неё чёрные валенки с калошами, на ней узкое, в талию, пальто и чёрный с алыми цветами платок, а щёки от быстрой ходьбы и зимнего воздуха у неё тоже алые, они так и горят. Мать подходит к Мите, наклоняется к нему, ласково прижимает его лицо к своей щеке, и щека у неё сначала приятно холодная, пахнет морозцем, но быстро становится такой тёплой, что у Мити от этого тепла вдруг сладко и немножко больно сжимается сердце.

Мать говорит: «Умница! Работничек мой! Сейчас тебе помогу».

А следом набегают сестрёнки — Даша и Маша. В длинных шубейках, в толстых платках, они маленькие и неуклюжие, как медвежата, барахтаются рядом в сугробе, им весело, а потом они кричат: «И мы поможем! И мы!»

И каждый раз на этом месте своих воспоминаний Митя взаправду оборачивается и взаправду видит, как с гамом, шумом, с толкотнёй к нему бегут по тропке малыши — все они в серых одинаковых пальтишках, все в серых одинаковых шапках — и кричат:

— И мы поможем! И мы!

Но эти малыши — не Даша с Машей. И торопится за ними по хрустящему снегу не мама, а Павла Юрьевна. И Митя

грустно вздыхает, но потом думает: «Хорошо, что хоть у меня есть они, вот эти ребята и Павла Юрьевна. А потом, может быть, и мне повезёт, как Сашку, а потом, может быть, и мои мама с Машей и Дашей тоже скоро найдутся...»

3

Охотнее же всего Митя Кукин возится в сарае, который из-за древности просел на все четыре угла и подслеповато щурится на интернат из-за сосен одним узким, прорезанным в толстом бревне оконцем.

Сарай интернатские с гордостью называют: «Наш конный двор!», но живут на «конном дворе» только белохвостый, с обмороженным гребнем петух Петя Петров и одна-единственная лошадь Зорька.

Зорьку ленинградцам подарил сельский Совет. Подарил под конец нынешней зимы. Получать Зорьку ходил завхоз Филатыч, и это событие запомнилось детям надолго.

О том, что Филатыч сегодня должен привести лошадь, дети знали заранее, и все толпились в комнате девочек у двух широких окон, выходящих на поле, все смотрели на дорогу. Смотрели почти весь день и всё никак ничего не могли увидеть.

Но вот по вечерней поре, когда солнышко уже садилось и от закатных лучей снежное поле впереди интерната, крыши деревеньки на краю поля и вся санная дорога на этом поле сделались алыми, кто-то крикнул:

— Ой, смотрите! Конь-огонь!

А другой голос подхватил:

— Конь-огонь, а за ним золотая карета!

Митя присунулся к окну, глянул и тоже увидел, что от голубого морозного леса по дороге рысью бежит золотой конь. Он бежит, а за ним не то скользит, не то катится удивительная повозка.

Под косым вечерним светом она и в самом деле кажется позолоченной. От неё и от коня падает на алые снега огромная сквозная тень, и на тени видно, как странно устроена повозка. Внизу — полозья, чуть выше — колёса со спицами, а

над колёсами — плоская крыша, как это и бывает у всех ска-
зочных карет.

А всего страннее то, что седока в повозке не видно. Конь по дороге бежит словно бы сам, им никто не управляет.

Дети кинулись в коридор к вешалке, стали хватать паль-
тишки, чтобы увидеть торжественный въезд золотого коня
в интернатские ворота. Кто-то запнулся, упал. Кто-то из ма-
лышей заплакал, боясь опоздать. А рослый Саша протянул
руку через все головы, сорвал с вешалки свою и Митину
шапки, и они первыми выскочили во двор, на холод.

Золотой конь уже приворачивал с дороги к распахнутым
воротам. Конь входил в темноватый под соснами двор интер-
ната, и был он теперь не золотым, а мохнато-серебряным. На
его спине, на боках, на фыркающей морде настыл иней.

— Тпр-р-р... — донеслось изнутри странной повозки, и по-
возка остановилась у крыльца, и это оказались всего-навсего
обыкновенные сани-розвальни, а сверху саней возвышалась
летняя телега с откинутыми назад оглоблями и с неглубоким
дощатым кузовом.

— Тпр-р-р! Приехали... — повторил голос, и на снег из
широких саней, из-под телеги, медленно вылез бородатый
Филатыч. Лоб, щёки, нос у него от холода полиловели. Ма-
ленькие, по-старчески блёклые глазки радостно моргали. Он
прикрутил вожжи к высокому передку саней и, замечая
длиннополым тулупом снег, прошёл к самой голове лошади.
Он ухватил её под уздцы, победно глянул на толпу ребяти-
шек и с полупоклоном обратился к заведующей:

— Ну вот, Павла Юрьевна, принимай помощницу. Зо-
вут — Зорькой. Дождались мы с тобой, отмаялись!

Он дружелюбно хлопнул рукавицей Зорьку по сильной,
гладкой шее. Зорька фыркнула, вскинула голову. Павла
Юрьевна отшатнулась, на всякий случай загородилась рукой.
Она — человек городской, питерский — лошадей немного по-
баивалась. Но потом укрепила пенсне на носу потвёрже и
медленно, издали, обошла Зорьку почти кругом.

Обошла, встала и, довольно покачивая из стороны в сто-
рону головой, восторженным голосом произнесла:

— Как-кой красавец! Это намного больше всех моих ожи-
даний...



Она опять повела головою, выставила вперёд ногу в растоптанном валенке и широким жестом ладони показала ребятишкам на Зорьку:

— Вы только посмотрите, товарищи! Это же великолепный конь! Вы согласны со мною, товарищи?

— Согла-асны... — нестройным хором протянули «товарищи», все разом утёрли озябшие на холоде носы, а Саша Елизаров сказал:

— Буэнос бико!

Эта фраза должна была означать по-испански: «Славный зверь!»

Филатыч засмеялся:

— Да что ты, Юрьевна! Разве это конь? Это просто кобылка по-нашему, по-деревенскому, да ещё и жеребая... С приплодом, так сказать.

Павла Юрьевна удивлённо глянула на старика и осуждающе нахмурилась:

— Ну-у, Филатыч... Что за слова? При детях!

— А что «слова»? Хорошие слова... Кобылка она и есть кобылка. Скоро нам жеребёночка приведёт... махонького. Гривка и вся шёрстка у него будут мягонькие, так и



светятся, так и светятся, словно обмакнутые в солнушко... Жеребёночки всегда рождаются такими.

Ребятишки, услышав про жеребёночка, счастливо засмеялись. А Митя шагнул к лошади, протянул ей раскрытую ладонь. Лошадь опять мотнула головой, звякнула железными удилами, как бы освобождаясь от уздечки, за которую держался старик. Филатыч узду отпустил, и Зорька ткнулась мягкими, нежными губами в ладонь Мити. По ладони прошло тепло. Митя так весь и задрожал от радости и ответной нежности, а Филатыч удивился:

— Вот так да! Признала мальчика... А мне сказали: «Маленьких она любит не шибко». Ну что ж! Если разрешит начальство, быть тебе, парень, в конюхах, в моих заместителях. А то я один-то теперь не управлюсь.

Митя, не отнимая от Зорькиных губ ладони, с такою надеждой и мольбой глянул на «начальство», на Павлу Юрьевну, что она сразу закивала:

— Да, да, да! Пусть будет, пусть будет. Я всегда говорила, Митя Кукин — человек надёжный, и лошадка это, видно, тоже почуяла.

Вот так вот и началась Митина дружба с Зорькой, которая сразу стала самой настоящей кормилицей и поилицей всего интерната. На Зорьке возили дрова, воду, на ней ездили на полустанок Кукушкино в пекарню за хлебом и там же, на полустанке, забирали почту.

Раньше всё это Филатыч доставлял в интернат с великим трудом на случайных колхозных подводах, а теперь лошадь была своя, и хозяйственные дела у Филатыча пошли веселее.

А дел у старика было полно. Он не только ездил в Кукушкино, он выхлопатывал в дальнем леспромхозе для интерната лес на топливо; подшивал ребятишкам «горящую, как на огне» обувь; чинил столы, скамейки, парты; латал обрезками фанеры и тонкими дощечками разбитые окна — и как он со всем этим управлялся, понять было невозможно. Ведь у него и у самого в деревне было какое-то хозяйство. Это он, Филатыч, в первую военную зиму, когда с питаньишком было из рук вон плохо, когда отощавших ребятишек чуть ли не ветром качало, а сама Павла Юрьевна совсем было слегла, это он, старый Филатыч, спас от гибели весь интернат.

Он пешком, с палочкой, дошёл до всего сельсоветского начальства, дошёл даже до райкома, и в интернат стали каждый день безо всяких перебоев отпускать из колхоза молоко и прислали целый воз овощей для приварка. А пока шли хлопоты, Филатыч сам на своей спине в котомке перетаскал из дома, из деревни, в интернат почти все собственные запасы картофеля и поддерживал этим картофелем ребятишек и Павлу Юрьевну до тех пор, пока не наступили времена по-лучше. На робкий вопрос Павлы Юрьевны, не трудно ли ему, он однажды только и ответил:

— Мы, матушка, Павла Юрьевна, хрестьяне... Нам без трудностей нельзя. Мы к трудностям привычны сызмальства. А окромя того, я к этому делу Советской властью приставлен, так значит и должен его выполнять.

Когда же Павла Юрьевна сказала, что за картошку интернат ему заплатит, то Филатыч страшно рассердился:

— И не выдумывай! И не смей! Не возьму... Это я, считай, в фонд обороны внёс. Нынче вон каждый трудящийся человек всё до последней крохи на оборону сдаёт. Наши деревенские на целый боевой танк собрали. Я тоже на танк вносил... Так что, мне теперь и за это денег требовать? Эх ты... Павла Юрьевна! А ещё питерская... Обижаешь, матушка, меня.

Павла Юрьевна даже покраснела:

— Простите, ради бога простите! Я ведь только и хотела сказать, что вам очень трудно со всеми нашими делами одному управляться.

— Ничего,— отмахнулся Филатыч.— Как-нибудь управлюсь...

Но и всё равно он очень обрадовался, когда ему стал помогать Митя Кукин.

Когда завхоз увидел, как ловко и заботливо мальчик ухаживает за лошадью, наделяет её сеном, носит ей с кухни в бадейке подогретую воду, чистит по утрам соломенным жгутом, то научил мальчика ещё и запрягать лошадь и стал брать Митю с собою в поездки, а в недалёкий путь отпускать и одного.

Запрягать Зорьку было не очень трудно. Она сама помогала Мите. Она сама продевала низко склонённую голову с

поджатыми ушами в подставленный хомут, а потом голову вскидывала, и хомут оказывался у неё на груди, на месте. Только вот затягивать хомут супонью — тонким ремешком — было труднее. Тут надо было, стоя на земле на одной ноге, другою ногою упираться в клешню хомута и тянуть ремешок изо всех сил на себя, а росту для этого у Мити не хватало. Даже у Саши не хватало. Но и тут Митя приспособился. Он стал подкатывать к лошади чурбан и управляться с этой подставки.

И вот возится Митя рядом с лошадыю, закладывает ей на спину войлочный потник и седёлко, лезет за пряжкой подпруги под круглое, как бочка, очень тёплое, всё в крупных выпуклых жилках брюхо, и Зорька не шелохнётся. Она терпеливо ждёт, она лишь подрагивает от щекотки всей кожей и доверчиво косит на Митю добрым блестящим глазом.

Рядом с ней Мите хорошо. Митя разговаривает с Зорькой и чувствует, что лошадь понимает его. Он даже показал ей однажды и прочитал вслух письмо с приветствием от лейтенанта Бабушкина, и Зорька бумагу обнюхала, и одобрительно фыркнула, и мотнула головой.

А когда Митя рассказал ей про своих сестрёнок и про свою маму, то Зорька положила ему на узенькое, слабое плечо свою тёплую большую морду, тихо щекотнула пушистой верхней губою Митино ухо и вздохнула вместе с мальчиком.

4

В один из мартовских деньков Митя собрался по распоряжению Филатыча к ручью за водой. Собрался он вместе с Сашей, а ещё за ними увязался самый маленький житель интерната — мальчик Егорушка.

Времени было за полдень. С южной стороны крыш капало, тонкие сосульки отрывались от карниза школы и со звоном шлёпались в мелкие лужицы на утопанном снегу. Интернатский петух Петя Петров ходил вокруг лужиц, любовался на своё отражение, хлопал крыльями и восторженно орал. Ему откликались через дорогу, через поле деревенские петухи.



Митя вывел из конюшни Зорьку, впряг её в оглобли, не спеша запряг. Потом вскочил в сани, утвердился на широко расставленных ногах между пустой бочкой и передком, дёрнул верёвочными вожжами и, стоя, подкатил к школьному крыльцу.

Мальчики — Саша и заплетающийся в длинном пальто Егорушка — подбежали следом. Они несли вёдра.

С крыльца спустился Филатыч в красной распоясанной рубахе и с рубанком в руках. Не выпуская рубанка, одной свободной ладонью он ощупал на спине Зорьки войлочный потник, проверил, удобно ли потник положен, подёргал тугой ремень чересседельника, посмотрел на лужи, на солнышко.

— Теплынь! Надо бы нынче к ручью самому съездить. Как бы не разлилось... Ты, Дмитрий, вот что: ты на лёд нынче лошадь не загоняй, а встань с бочкой на берегу. Понял? Ну вот и ладно... Ну, вот и езжайте. Завтра проверю сам, а сегодня времени нет.

Саша с Егорушкой бросили вёдра в сани, вскарабкались верхом на бочку; Митя, радуясь, что едет за главного, без

Филатыча, громко чмокнул губами, и Зорька легко, рысцой понесла сани по дороге.

Водовозная дорога сразу от школы уходила в лес. Она ныряла под мощные корабельные сосны, и снег под соснами был ещё по-зимнему чист и крепок. Под соснами держалась прохладная тень, но там, где прямые, с тёмно-коричневыми, словно пригорелыми низами деревья разбегались просторней, там всю тенькали синицы. В голубом прогале неба ласково и призывно куркал одинокий ворон. А ещё выше, в самой бездонной синеве, громоздились белыми башнями невесомые, почти неподвижные облака.

— Шарман! — сказал, сидя на бочке и задрав кверху голову, Саша, и это должно было означать по-французски: «Красота!»

А Егорушка тоже огляделся, потянул носиком сосновый воздух, распахнул ещё шире и так всегда изумлённые, в длинных ресницах, ореховые глаза и сказал:

— Хорошо-то как...

Потом подумал и добавил:

— А у меня завтра день рождения!

Митя, который стоял в передке саней и держал вожжи, сразу обернулся:

— Сочиняешь, Егорушка? Опять?

Митя знал за Егорушкой такой грех. Егорушка попал в интернат совсем маленьким, не помнил, когда у него день рождения, а справить этот день ему очень хотелось, и малыш придумывал его себе на каждой неделе по три раза. Но теперь Егорушка замотал головой и сказал:

— Нет, не опять... Это я раньше сочинял, а нынче Павла Юрьевна сказала. Мне знаешь сколько будет? Вот сколько!

Егорушка выпростал из длинных рукавов пальцы, отсчитал шесть и высоко поднял обе руки.

— Ого! — сказал Саша. — По-английски это будет «сикс». Выходит, тебе подарок надо...

— Надо! — радостно согласился Егорушка. — А какой?

— Ну вот, сразу «какой». Поживём, увидим. Потерпи до завтра.

— Потерплю, — ответил сговорчивый Егорушка. — До завтра терпеть недолго.

А Митя не вытерпел. Он дёрнул вожжами, взглянул на мерно колышащуюся спину лошади, послушал, как она ладно похрупывает подковами по сыроватому дорожному снегу, и опять обернулся:

— Хочешь, Егорушка, я тебе дудочку сделаю? Ивовую... На два голоса. Я это, брат, ловко умею. Вот приедем к ручью, выломаю подходящий прут и дома вечером сделаю.

— Сделай! — оживился Егорушка, поднёс к губам воображаемую дудочку и, сидя на бочке, заприговаривал: — Тир-ли, тир-ли, тир-ли!

Мальчики засмеялись. А Зорька топала да топала по узкой дороге, и вот корабельные сосны кончились, дорога сбегала по некрутому склону вниз и пошла по долинке, заросшей ивняком и ольховником.

Мартовскому солнцу тут раздолье. Ветер в долинку почти не залетает, тени от кустов прозрачны, и вешнее тепло здесь проникает всюду. Сугробы во многих местах уже протаяли до болотных кочек, а на ивовом прутье надулись глянцевые почки. Они вот-вот лопнут, и тогда по тонким веткам разбегутся, как цыплята, ярко-жёлтые пушистые соцветия.

Егорушка напоминает:

— Митя, прутик не забудь сломить.

— Не забуду, — говорит Митя, останавливает лошадь и спрыгивает в снег. Он топчется под ивой, сгибает упругую ветку. Митины следы сразу темнеют, набухают водой.

— Надо бы нам надеть кирзовые сапоги. Промокнем, — думает вслух Саша. А Митя сламывает прут, внимательно осматривает его и опять залезает в сани.

5

Когда подъехали к ручью, то увидели, что за прошедшие сутки там ничего не изменилось. На широко раздавшемся в этом месте ручье, на льду, по-прежнему лежит пронзительно-яркий снеговой покров, по снегу тянется накатанный саними подъезд к проруби; а с того берега от густых елиников к проруби-оконцу протоптана узкая тропа. Её пробили за зиму лоси, они ходят сюда на водопой почти каждый день.

Мальчики, как наказывал Филатыч, оставили Зорьку на берегу, взяли вёдра, побежали к оконцу. Здешний берег был низкий, почти вровень со льдом, и они сразу обнаружили, что самая кромка льда и снег на ней — мокрые. Влажная полоска растянулась в обе стороны, но нешироко, и её перескочил даже Егорушка.

Вокруг проруби снег был тоже сырой, жёлтый. А в самом отверстии вода, как в ледяном колодце, поднялась до краёв, и вот это было уже большой новостью. Раньше вода стояла гораздо ниже.

— Я говорил, промочим валенки, — опять сказал Саша.

— Ничего. Приедем, высушим. Ты, Егорушка, в мокрое не лезь, — сказал Митя и далеко перегнулся, поддел ведром красноватую, с болотным запахом воду.

— Смотри-ка, ещё вчера была чистая, а сегодня уже нет, — удивился Егорушка.

— Торфяники оттаивают, — догадался Митя и почерпнул второе ведро. Он передал его Саше; мальчики, тяжело нагибаясь, потащили вёдра к берегу. Егорушка, размахивая длинными рукавами, засеменял сзади.

Мокрыю полоску у берега перепрыгнуть с полными вёдрами уже не удалось, через неё прошлёпали напрямую. Потом выбрались к бочке и опрокинули вёдра над широкой прорезью. Вода с шумом ухнула в тёмное, круглое нутро. Саша всунул туда голову, посмотрел:

— Едва донышко скрыло, ох-хо...

— Первый раз наливаешь, что ли? — засмеялся Митя и побежал обратно.

Сходили они так, от берега к проруби и от проруби к берегу, пять раз. Все уплескались, в сырых валенках стало хлопать, воды в бочку принесли десять вёдер, а надо было — пятьдесят.

Саша опять заглянул в прорезь, опять вздохнул:

— Так до вечера будем таскать!

Митя отпыхнулся, спросил:

— А что делать?

— Давай подгоним Зорьку к самой проруби, как всегда.

— Что ты! Филатыч не велел...

— Не велел, не велел, — недовольным голосом передраз-

нил Саша. — Он не велел, если лёд слабый, а лёд — не слабый... Вон сколько раз ходили туда-сюда, а он даже и не шелохнулся.

— Это под нами не шелохнулся, а под лошадьё, может, и шелохнётся. Что тогда?

— Пустяки! — сказал Саша. — Глянь!

Он перепрыгнул мокрую закраину и стал изо всех сил подсакивать на ледовой, зимней дороге. Снег, уплёсканный из вёдер, просел под ним, но дальше Саша не проваливался.

— Слышишь? Гудит даже! Во, какая крепчина! Лёд здесь, наверное, намёрз до самого дна: тут мелко. Поехали!

— Поехали, — махнул рукой Митя. Ему и самому не хотелось таскать вёдра с водой до позднего вечера.

Но Зорька на лёд не пошла. Она остановилась у самой закраины, неудобно налегая на хомут, опустила вниз длинную морду, втянула тёмными ноздрями запах талого снега, всхрапнула и резко попятилась.

— Бойтся... Не пойдёт, — сказал Митя и бросил вожжи в сани.

— А ты её за уздцы, за уздцы! Она за тобой пойдёт. Она тебя слушается, — посоветовал Саша.

Егорушка тоже поддакнул:

— Она, Митя, тебя всегда слушается. Она за тобой пойдёт.

Митя взял Зорьку под уздцы и, подражая Филатычу, заприговаривал:

— Ну что, Зоренька? Ну что, матушка? Ну что боишься? Пойдём, голубонька моя, пойдём...

И Зорька пошла.

Саша закричал по-американски: «О'кей!», Егорушка засуетился по берегу, замахал руками: «Пошла, пошла!», а Митя уже перескочил мокрую закраину и, пятясь и отставив свой туго обтянутый серыми штанцами задок, тянул Зорьку за собою. Он не давал ей опустить голову, глянуть вниз, и Зорька вдруг вся как-то странно, по-собачьи, присела, ржанула и вот мощным прыжком ринулась вперёд.

Митя успел увидеть летящую на него лошадиную мускулистую грудь, край хомута, обтянутый ремённым гужом то-рец оглобли, но тут его ударило прямо в лоб, он полетел ку-



барем, прочертил щекой по зернистому снегу, и в глазах у Мити потемнело.

Он услышал рядом такой треск, будто весь белый свет начал колотиться на куски и падать вниз, рушиться. Где-то у самых ног страшно зашумела вода, жутко заржала лошадь.

«Тонем!» — подумал Митя и забился, забарахтался. Но голые пальцы хватали не тёмную воду, а холодный мокрый снег.

Он стиснул сочащийся ком, присунул к лицу — в глазах стало проясняться. Митя медленно, шатаясь, поднялся.

Белый свет оставался белым. По-прежнему светило солнце. Но в трёх шагах от Мити, у самого берега, зиял бурый, бурлящий пролом, и там в ледяном крошewe билась Зорька.

Вода, перемешанная с торфяной грязью, летела во все стороны, она достигала Зорьке выше груди. Зорька старалась подняться на дыбы, вскинуть передние ноги в шипастых подковах на кромку льда, но наклонённые с берега сани с боч-

кой пихали её оглоблями вперёд, прижимали к ледяной кромке, и она всё никак не могла выпростать ноги из-под этой кромки, лишь билась об неё хомутом, грудью, коленями, обрезалась до крови.

На берегу заполошно бегали Саша с Егорушкой. Они то хватались за сани и тянули их изо всех сил назад, то тянуть отступались и бежали смотреть на рвущуюся из оглобелей Зорьку, а потом опять принимались тянуть сани, да силёнок у них для этого не хватало.

Митя стоял на захлёстанном грязью снегу, на льду, и с ужасом видел, что лошадь тоже смотрит на него.

Метаться она перестала, только вся вздрагивала. Вода шла вокруг её шеи крутыми воронками, и Зорька тянула к Мите мокрую морду, и огромные, от страха косящие глаза её, как показалось Мите, были в слезах.

И тут Митя заплакал сам. И, шлёпая по мокрому снегу, побежал на берег.

— Спятить надо Зорьку, спятить! — захлёбываясь от слёз и горя, крикнул он Саше с Егорушкой, зашарил в санях, стал искать вожжи, чтобы спятить Зорьку: заставить её саму вытолкнуть тяжёлые сани с бочкой на берег.

Но вожжей в санях не было. Они давно соскользнули в воду, и Зорька замяла, затоптала их под себя.

Митя повалился лицом на бочку, на руки:

— Ой, что делать-то-о? Ой, беги, Сашка, к Филатычу-у!

— Что ты! — испуганно сказал Саша. — Лучше давай сами как-нибудь.

— Не сможем сами, не сможем... Давай, беги!

А Саша затоптался. Нести к Филатычу свою повинную голову да ещё в одиночку ему вдруг стало страшно, и он сказал:

— Пусть Егорушка бежит. Он на ногу лёгкий, в два счёта домчится.

— Точно! В два счёта домчусь! — пискнул Егорушка и, обрадованный тем, что хоть как-то да может в беде помочь, припустил по дороге к интернату.

Митя поднял голову, посмотрел вслед Егорушке, вздохнул и побрёл на лёд.

Тёмная вода по-прежнему бурлила вокруг лошади. На-

верху виднелась только прядущая ушами Зорькина голова под дугой да широкая мокрая спина со сбитым на бок седёлком. Зорька теперь даже и не дрожала, а её всю било и и трясло. Даже нижняя губа у неё ходила ходуном, обнажая жёлтые, сильно стёртые зубы.

— Простудится... — опять всхлипнул Митя. — Сама на смерть простудится и жеребёночка застудит. Давай, Сашка, хоть как-нибудь её распряжём, что ли... Может, без саней она и выскочит?

— Может, и выскочит, — развёл руками Саша, — да как её распряжёшь? Сам под лёд ухнешь.

— Пусть! Пусть ухну... Так мне, дураку, и надо, — перестал плакать Митя и вдруг изо всех сил дрыгнул ногой, сошвырнул валенок, сошвырнул второй валенок, стянул с плеч и бросил пальто и, медленно переступая по льду в толстых вязаных носках с розовыми дырками на пятках, стал подходить слева, сбоку к лошади.

Саша подобрал Митино пальто да так с пальто в руках и стоял, растерянно смотрел, что будет дальше.

А Митя, не доходя с метр до края пролома, пригнулся, напружинился и руками вперёд прыгнул к лошади. Он упал животом ей на спину, Зорька присела. Митины руки и ноги оказались в воде. Но Митя так и остался лежать поперёк лошади и стал распутывать руками в бурлящем потоке широкий ремень чересседельника, завязанный вокруг правой оглобли.

— Упадёшь... — пробормотал Саша, а Митя уже распутал чересседельник, развернулся на спине лошади, сел на неё верхом и, обняв за дрожащую мокрую, но тёплую шею, опять опустил руку по самое плечо в ледяную воду и начал шарить по Зорькиной груди, по низу хомута, — искать ремешок супони.

Зорька сразу поняла, что к ней пришла помощь. Не рвалась, не взматывала головой, а только тихо и протяжно постанывала.

Ремешок супони раскис, разбух. Митя на ощупь тянул его, рвал ногтями. Рука от холода онемела, рубаха с этой стороны намокла до самого ворота, но вот ремешок поддался, клешни хомута разомкнулись.



Зорька дёрнулась, яркая, расписная дуга вылетела, стукнула Митю по голове, и ладно, Митя успел вцепиться в жёсткую конскую гриву, а то полетел бы вслед за дугой в тёмный поток.

Саша со стороны увидел, как Зорька мощно вздыбилась, развернулась на задних ногах и, обрушивая с себя сверкающую на солнце воду, с висящим на гриве мальчиком, вымахнула на лёд. Она проломила его, опять вымахнула и вот уже, хромая и волоча за собой вожжи, выбежала на берег.

Там она остановилась. Митя скатился на снег и кинулся осматривать Зорьку. Дышала она шумно и тяжело, ноги её дрожали. Вода капала с длинного хвоста, с гривы, под раздутым животом нелепо висело седёлко.

— Прости меня, Зоренька, прости... — опять было заплакал Митя, да тут подбежал Саша, подал валенки, пальто, сказал:

— Оденься.

Потом бодрым голосом добавил:

— Вот видишь! За Филатычем можно было и не посылать. Если бы не послали, никто бы ничего и не узнал.

— Ну да-а... ф-фиг бы не узнал... — едва выговаривал Митя, его самого трясло не меньше Зорьки.

6

А Филатыч был уже близёхонько. До смерти перепуганный Егорушкой, который ворвался в школьную столярку и не своим голосом завопил: «Зорька тонет! Зорька тонет! Одну дугу видно!», старик только и успел, что накинуть на себя полущубок да схватить у школьной поленницы длинную жердь, и так вот, без шапки, и бежал с этой жердью по дороге.

Старик бежал не быстро, ему не хватало воздуха. А Егорушка трусил рядом, всё наговаривал:

— Митя не хотел, а Сашка сказал: «Поехали!», Митя не хотел, а Сашка сказал: «О'кей!»

Филатыч на Егорушкины ябедные слова не отзывался, не мог. Только выбежав из леса в долинку и увидев на берегу

распряжённую лошадь, сказал не то с облегчением, не то с испугом:

— Ох!

Но ходу старик не убавил. А как бежал, приседая на ослабевших ногах, так на той же медленной скорости и подбежал к лошади.

На мальчиков он сначала и не взглянул. Он обежал, оглядел мокрую Зорьку, кинул ей на спину свой полушубок, а потом наклонился и увидел её сбитые, сочащиеся кровью ноги. Увидел, весь побагровел, шея и лицо стали у него почти такими же красными, как его распоясанная рубаха, и он медведем пошёл на мальчиков.

— Ах-х вы... — занёс он высоко руку, и Митя покорно сжался, а Саша отпрыгнул, побледнел, закинул назад голову и, словно отодвигая от себя старика ладонями, запомахивал ими, забормотал:

— Но, но, но... Вы не очень, не очень! Мы ведь не нарочно.

— Ах, не нарочно! Ах, не нарочно! — дважды проревел Филатыч, и опустил руку, и кинулся к Зорьке, отстегнул вожжи, согнул их втрое, вчетверо и вытянул Сашу пониже спины.

— Вы что! — взвизгнул Саша, отбежал и, держась рукой за то место, закричал: — Дратся, да? Дратся? Не имеете права! Я отцу напишу! Он вам покажет! Он — капитан, а вы... А вы — эксплуататор!

— Кто? — изумлённо раскрыл рот Филатыч и даже бороду с засевшей там стружкой выставил вперёд.

— Эксплуататор!

— Это почему же? — ещё больше изумился Филатыч.

— Потому что дерётесь... Трудящихся бьёте.

Филатыч опомнился, опять встряхнул вожжами:

— Ах, вот оно что! Трудящих бью... Да будь ты, Сашка, моим родным внучком, я бы тебе ещё и не так ижицу прописал! Я бы тебе показал эксплуатацию трудящихся... Вон по твоей трудящей милости лошадь-то колотит всю. Насквозь простыла. А она ведь — мать! От неё жеребёнка ждали.

Митя с Егорушкой, услышав про жеребёнка, заревели в голос. Филатыч глянул на них, грозно нахмурился, хотел им

тоже сказать что-то этакое, да махнул рукой и взялся за съехавшую в передок саней бочку.

Он качнул её раз, качнул другой, толкнул изо всех сил, и бочка, накренив сани, расплёскивая с таким трудом натасканную воду, покатила на снег.

Даже не дав мальчикам и подступиться к саням, Филатыч сам выдернул их из-под берега на ровное место, взял в руки жердь, подцепил не успевшую уплыть под лёд расписную дугу и стал запрягать Зорьку. Делал он это всё молча, лишь сказал запряжённой лошади:

— Но, милая... Давай потихонечку к дому, давай.

Сани тронулись, бочка осталась на берегу. Старик, придерживая длинные вожжи, пошёл за пустыми санями.

Митя робко поравнялся с ним, дотронулся до вожжей:

— Дяденька Филатыч... А дяденька Филатыч... Давай-те я.

Но Филатыч на мальчика даже и не посмотрел. Он сказал сердито:

— Отойди. Снимаю я тебя с лошади... Старших не слушаешься, приказу не подчиняешься...

7

Во двор интерната въехали, как с похорон. Впереди везла пустые сани Зорька, сбоку шагал нахмуренный Филатыч, сразу за санями плелись Митя с Егорушкой, а позади всех, задрав кверху голову, шагал крепко обиженный Саша.

У самого крыльца тюкали деревянными лопатами, проводили ручьи интернатские малыши, им помогала Павла Юрьевна. Она увидела медленную процессию, удивилась:

— Филатыч! Что за странный вид? А где бочка? А где у вас шапка? Ничего не понимаю.

Старик повернул Зорьку к воротам конюшни, буркнул:

— Что наш вид? Вы лучше на лошадь гляньте, на ноги. Вот там — вид.

Павла Юрьевна глянула и ахнула. Ребятишки тоже ахнули, повалили толпою вслед за санями. Егорушка, размахивая руками, с ужасом и восторгом, округляя свои ореховые глаза, принялся рассказывать малышам подробности.

А Саша с Митей — боком, боком — взошли на крыльцо, шмыгнули в сени, в раздевалку, смахнули прямо на пол мокрые одёжки и валенки и, печатая босыми ногами по крашеному полу мокрые следы, кинулись в тёплую, по-вечернему сумеречную, спальню. Дальше им от своего несчастья бежать было некуда.

Летом, конечно, можно скрыться в лес, в поле, и прилечь там в ласковую, мягкую траву, и плакать, плакать, пока горькая, тяжёлая боль на душе не размякнет и не станет тихой сладостью, но по снежной поро куда побежишь? Некуда. Только в спальню.

Только и утешения, что забиться под одеяло, и лежать там в душной тьме, и вздыхать, и хлюпать потихоньку носом, и жалеть себя так, как никто никогда не пожалеет; но и всё равно ждать, что вот наконец-то не вытерпит Павла Юрьевна, подойдёт, тронет тебя за плечо и негромко скажет: «Ну, ладно, ладно... Надеюсь, это в последний раз».

Но когда Павла Юрьевна в спальню прибежала, то сказала совсем другое. Она перепуганно крикнула:

— Мальчики, вы тонули? Вы искупались, мальчики?

Митя, стараясь вызвать к себе как можно больше сочувствия, зашмыгал носом ещё шибче, кивнул под одеялом головой, а Саша, тоже из-под одеяла, пробубнил:

— Это не я искупался, это он искупался... Он Зорьку спас.

Про вожжи, про Филатыча Саша решил молчать. Ему было противно и думать про эти вожжи, не то что говорить, и он только и повторил из-под одеяла:

— Это я Зорьку чуть не утопил, а Митя — спас!

Но Сашино рыцарское признание Павла Юрьевна как будто бы и не слышала. Она смахнула с мальчиков одеяла, пощупала сухой прохладной ладонью Митин лоб, затем Сашин лоб и по-докторски сказала:

— Внутрь — аспирин, к пяткам — грелки и два дня — вы слышите? — два дня лежать в постели.

— Как два дня? — всколыхнулся Митя. — А Зорьку лечить? Ей надо ноги забинтовать и внутрь тоже дать чего-нибудь надо!

— Лежи, лежи, — сказала Павла Юрьевна, а в приоткры-

тую дверь спальни просунулись любознательные малыши и запищали:

— Её уже лечат! Её уже бинтуют. Сам Филатыч бинтует... Ох, он там и ру-га-ит-цаа! На чём свет стоит... Говорит, за это дело кому-то наверняка отвечать придётся.

— Вот видите, что вы натворили, — уже не по-докторски, а тихо, по-домашнему, произнесла Павла Юрьевна. — Остаётся вам ещё заболеть, тогда совсем — ужас.

Она заставила мальчиков проглотить по горькой таблетке, сама принесла с кухни две горячие резиновые грелки и два стакана тёплого молока. Молоко она поставила на тумбочку, грелки сунула мальчикам под ноги и, выпроваживая широко раскинутыми руками набежавших в спальню малышей, кивнула Мите с Сашей от двери:

— Лечитесь. Обо всём завтра поговорим.

Мальчики остались одни. Дверь затворилась, и Саша вдруг состроил неприятную рожицу, сделал вид, что



поправляет на носу, как Павла Юрьевна, пенсне, и вслух передразнил:

— Во-от видите, что вы натворили, мальчишки...

Он спустил ноги с кровати, хлопнул кулаком по подушке:

— Эх, Митька! Ухожу я отсюда! Больше нет моего терпеньюшка.

— Куда? — удивился Митя и тоже вскочил, сел.

— На флот, Митенька, на флот! К папе на корабль. А здесь пускай Филатыч других вожжами порет, только не меня... Не могу я его больше видеть, Митёк!

— Ты что? — удивился ещё больше Митя. — Он тебя во-все и не порол... Он тебя только шлёпнул разок, да и то сгоряча. Меня знаешь как мама шлёпала?

— То мама, а то Филатыч. Нет, всё равно, Митька, я убегу.

Саша лёг на кровать, закинул руки за голову, призадумался, потом опять сел и зашептал, косясь на дверь:

— Ведь меня, Митя, теперь задразнят. Егорушка всем разболтает про вожжи.

— Пусть болтает. Егорушка всегда чего-нибудь болтает. Он маленький. А за тебя Павла Юрьевна вступится.

— Всту-пится? Нимало! Она сама Филатыча боится, всё ходит за ним да приговаривает: «Ах, какой вы умелый! Какой вы старательный! Ах, как это вы всё успеваете!» Станет она из-за меня с Филатычем ругаться... Фигушки!

— Если надо, станет. Она справедливая.

— Справедливая? А когда я сказал, что ты лошадь спас, она что ответила? Ничего! Только таблетку сунула. Да это ещё пустяк! А вот погоди, когда Филатыч тебя и в самом деле не допустит до лошади, так Павла и пальцем не пошевелит. Скажет: «Зорькой Филатыч распоряжается, ему и решать!»

Последние слова прозвучали убедительно. Митя испуганно притих. А Саша так раскипятил себя, так раскипятил, что уже и взаправду верил: обижен он тут до последней крайности и нет ему другого выхода, как бежать. Бежать к отцу.

Причём ему как-то и в голову не приходило, что отец отсюда за сотни километров. В голове у него ясно и почти осязаемо вставали только две картины: вот этот интернат с

обидчиком Филатычем и красавец корабль с улыбчивым, добрым отцом. Длинные километры тут не имели никакого значения. Они пропадали для Саши за словом «бежать». Надо бежать, бежать, бежать — и вот прибежишь прямо на отцовский корабль, прямо на капитанский мостик.

Не пешком, конечно, бежать. Саша понимал, что бежать — это значит ехать на поезде. Но и поезд ему рисовался уже где-то рядом с великолепным кораблём. Главное было сейчас: уйти из интерната, добраться до полустанка Кукушкино. А полустанок всего в двух часах пешей ходьбы — в общем, тоже пустяк! План созрел вполне ясный. План — вполне достижимый. Нужен только попутчик, одиночества Саша ни в чём не терпел. Он сполз на самый край постели, протянул через проход руку, дотронулся до Мити:

— Давай вместе, а?

Митя, занятый грустными думами, не понял:

— Что вместе?

— На корабль... К папе.

— Нужны мы там! Ерунда всё это.

— Ничего не ерунда! Мы там знаешь кем станем? Юнгами станем. Бескозырки выдадут и ремни с пряжками... А там, глядишь, и винтовки дадут. Отец добрый!

Митя насторожился, поднял голову:

— Лучше бы автоматы...

— Что же, можно и автоматы. Отличимся в боях, дадут и автоматы. Да что автоматы! К пулемёту приставят! Как в песне: «Так-так-так! — говорит пулемётчик. Так-так-так! — говорит пулемёт». Драпанём, Митька, а? Драпанём?

Митя промолчал, но Сашины разговоры на Митю начали действовать. У Мити у самого на душе скребли кошки. Правда, обиженным он себя не считал, да зато из головы не выходили слова, выкрикнутые Филатычем на берегу возле дрожащей Зорьки: «От неё ведь жеребёнка ждали!» А «ждали» — это совсем не то, что «ждём». «Ждали» — это значит: ждали, да не дождались, и жеребёночка теперь никогда не будет.

И жеребёночка не будет, и сама Зорька, если заболит, пропадёт, и за всё это придётся отвечать ему, Мите Кукину. Филатыч вон так и говорит: «Отвечать кому-то придётся...» А кому? Ясно кому. Безо всяких объяснений понятно.

Мите вдруг вспомнился здешний, из районного села, однорукий милиционер Иван Трофимович, который иногда, по пути, заводит в интернат почту и каждый раз по настоятельному приглашению Павлы Юрьевны выпивает на интернатской кухне огромную кружку чая с маленьким кусочком сахара. Сахар в интернате — драгоценность. Крохотный, в полнапёрстка кусочек — весь дневной паёк Павлы Юрьевны, и гостю это известно. Кусочек он берёт деликатно, двумя пальцами, и, топорща рыжие, жёсткие усы, откусывает крепкими крупными зубами от кусочка чуть-чуть.

Потом он кружку перевёртывает, кладёт на неё так и не съеденный сахар, поднимается, оправляет единственной рукой ремень с кобурой и говорит Павле Юрьевне басом: «Спасибочки! Премного благодарен за угощение!»

И вот этот милиционер Иван Трофимович и предстаёт теперь перед испуганным Митиным воображением. Мите видится он не на кухне, а на высоком интернатском крыльце.

Вокруг крыльца стоят все интернатские мальчики, все девочки, стоят Павла Юрьевна с Филатычем. Вид у всех скорбный. А Иван Трофимович выводит его, Митю, из школы на крыльцо. Выводит, кладёт на Митино плечо тяжёлую ладонь и приказывает на всю улицу: «Ну, Митя Кукин, отвечай теперь за свой проступок перед всем честным народом!» И Митя отвечает. Он утирает рукою слёзы, кланяется с крыльца на три стороны и трижды говорит: «Прости, народ честной! Прости, народ честной! Прости, честной народ...»

Митя даже головой помотал, чтобы прогнать от себя эту жуткую картину, а потом с горя и тоски взял с тумбочки стакан с молоком, разом его выпил и, не вытерев молочных усов, с полунадеждой, с полусомнением спросил:

— Да-а, ты-то вот к отцу побежишь, а я к кому?

Саша оживился:

— Так к лейтенанту же Бабушкину! Он же тебе привет прислал! Он тебе и тогда привет прислал и ещё, может быть, собирается прислать. Ведь я про тебя, Митёк, туда на корабль раза три ещё писал... Не веришь? Честное пионерское! Но в случае чего отец и двоих примет... Жалко, что ли? Где один, там и два.

И чтобы наверняка решить дело, чтобы не дать Мите отступить, Саша отбросил в сторону всякое рыцарство и пустил в ход запретный, но верный приём. Он отвернулся, нарочито громко вздохнул:

— Что ж, конечно... Если ты трусишь, я тебя не зову. Этот коварный вздох решил всё. Принять на себя обвинение в трусости Митя не мог. Он подумал, помолчал и тихо произнёс:

— Ладно. Как ты, так и я. Когда бежать-то?

Бежать мальчики решили в полночь, когда уснёт весь интернат, когда в первый раз пропоёт петух Петя Петров.

— Нет лучшего сигнала для побега, чем петушиный крик, — сказал Саша.

А перед тем как интернат уснул, перед самым отбоем, мальчики слышали: к ним в спальню приходил Филатыч. Они слышали его, но не видели. При первом звуке его бубнящего в коридоре голоса, ещё до того как открылась дверь, они закутались в одеяла с головой, притворились крепко спящими, и Филатыч потоптался у кроватей, поскрипел половицами, сказал негромко вслух: «Пуцай спят, завтра поговорю!» — и ушёл.

— Слыхал? — высунулся наружу Саша. — Слыхал? Завтра опять с ним беседовать придётся.

— Отвечать придётся, — вздохнул Митя и теперь сам сказал: — Скорей бы Петя Петров пронел, скорей бы полночь.

А потом Саша и Митя лежали под одеялами и слушали, как дежурные принесли в спальню и поставили им на тумбочку ужин, потом слушали, как в спальню пришли все остальные мальчики и, стараясь не мешать «больным», стали потихоньку укладываться. Видно, Павла Юрьевна их строго предупредила, а то бы тут ещё целый час стоял шум, гам, в воздухе свистели бы подушки, раздавался бы писк, хохот, а потом кто-нибудь чего-нибудь рассказал бы весёлое, и в тёмной спальне все бы ещё долго кисли от смеха.

Но сегодня все уgomонились быстро. Только в ближнем от Мити углу немножко пошептался со своим соседом Егорушка.

— У меня завтра день рождения. Мне Митя дудочку обещал сделать.

— Какой тебе день рождения! — ответил сердитым голосом сосед. — Какая тебе дудочка, когда кругом больные! И Митя болен, и Саша болен, и Зорька в конюшне стоит под тулупом больная.

Егорушка озадаченно помолчал, подумал, потом почти громким голосом сказал:

— Так ведь день-то всё равно будет!

— Будет, будет, — согласился сосед. — Перестань разговаривать, а то Павла Юрьевна придёт.

Малыши замолчали, но Егорушка ещё долго ворочался, видно, переживал: будет у него завтра день рождения или опять не получится.

Митя тоже переживал. В голове у него теперь всё перепуталось: и Зорька, и жеребёночек, и Егорушкина дудочка, и неведомый, далёкий корабль. Митя устал от этих переживаний и вот незаметно уснул.

8

Сколько он проспал — неизвестно. Может, три минуты, а может, три часа.

Разбудил его Саша.

— Вставай, Петя Петров кукарекнул.

Митя открыл глаза, увидел в окне светлую холодную луну и сразу вспомнил, что вот сейчас, что вот прямо в эту же минуту надо вылезать из тёплой постели и выходить в ночь, в тьму, и бежать под этой стылой луной неведомо куда, и ему сделалось жутко.

Но Саша прошептал:

— Дрейфишь?

И Митя свесил голые ноги с кровати, стал одеваться.

Саша свою куртку уже натянул и теперь засовывал в карманы хлеб, лежащий на тумбочке рядом с нетронутым ужином.

— Провиант на дорогу. Надо бы и кашу прихватить, да не во что... Давай, пошли.

Осторожно ступая босыми ногами по гладким прохладным половицам, они выскользнули в тёмный коридор. Саша

остановился возле комнатухи Павлы Юрьевны, приложил ухо к двери. Там было всё спокойно, и мальчики принялись ощупью разыскивать на вешалке свою одежду. Пальто и шапки нашарили сразу, а валенок под вешалкой не было. Там ничьих валенок не было.

— Вот так раз...— едва слышно выдохнул Саша.

Но Митя сообразил:

— Так мокро ведь было. Вся обувь на кухне сушится.

Пришлось открывать дверь на кухню. Дверь, к счастью, не заскрипела. Вышла заминка только с самими валенками. На тёплой плите их стояло так много, что выбрать впотьмах свои собственные было невозможно.

— Натягивай любые,— скомандовал Саша,— лишь бы по ноге пришлись. Теперь всё равно.

— Теперь всё равно...— согласился Митя.

И вот они сняли в сенях с дверного пробоя тяжёлый крюк, тихонько вышли на крыльцо, и навстречу им хлынул холодный, лунный свет, протянулись по синему блескучему снегу резкие тени сосен.

Мальчики замешкались у крыльца. Но тут к ногам их упала сухая сосновая шишка, мальчики вздрогнули, припустили во весь дух к воротам.

Они выскочили на проезжую дорогу и побежали по ней в ту сторону, где хмурился на краю поля под звёздным небом ночной лес.

На опушке у первых ёлок Саша остановился, посмотрел на тёмные, теперь далёкие окна школы и сказал:

— Адью! Прощай!

А Митя ничего не сказал. Митя даже не помахал варежкой. И не потому, что ему было всё равно, а потому, что он боялся заплакать.

Потом они помчались дальше и бежали до той поры, пока у обоих не закололо сердце. Тогда мальчики пошли быстрым шагом и всё посматривали вперёд, всё ждали, когда покажутся крыши полустанка.

Влево, вправо они не глядели. Смотреть по сторонам было страшно. Подсвеченный луною, мартовский лес был угрюм. В нём что-то вздыхало, скрипело, нащёптывало; в нём, должно быть, оседали в глубоких оврагах налитанные талой

водою снега, но мальчикам думалось: там кто-то идёт, крадётся и вот-вот выйдет косматой тенью на дорогу и преградит им путь.

Мальчики схватились за руки, опять помчались изо всех сил.

А тусклый кружок луны всё катился и катился по небу; он то забегал за острые макушки елей, то вновь выбегал, а затем его накрыло облако, и вокруг стало ещё мрачней. Саша, боясь, как бы Митя не раздумал и не повернул назад, принялся расписывать вслух будущую жизнь на корабле:

— Как заявимся, Митёк, так первым делом отпрапортуем: «Юнга Кукин и юнга Елизаров для прохождения военной службы прибыли!» Вот папа и лейтенант Бабушкин обрадуются, так обрадуются! Они ведь там по нас наверняка соскучились.

— Скажешь тоже... Соскучились! — сомневается Митя. — Лейтенант меня и в глаза не видел.

— Мало ли, что не видел. Всё равно соскучился. Моряки знаешь как по берегу, по семье скучают? А ты станешь как сын или как брат.

— У него, может, свой сын есть?

— Нету! Если бы он был, так лейтенант бы тебе привет не послал. Он бы своему сыну послал... Нет, Митёк, он сразу тебя признает и даже к себе в каюту жить возьмёт. Ты хоть когда-нибудь в каюте на корабле бывал?

— Откуда же...

— А я, Митенька, бывал. Правда, маленьким, ещё до войны и многое позабыл. Но вот одно — запомнил. Есть там такое круглое окошко, «иллюминатор» называется. Стекло в нём толстое, чистое, а за стеклом — синее небо. А море тоже синее. И волны в борт корабля под самым окном этим тихонько нашлёпывают: шлёп-шлёп... шлёп-шлёп... Они на-шлёпывают, а в каюте на столике, на белой салфетке стоит стакан с компотом. Компота в стакане совсем немного, в нём чайная ложка, и она тоже негромко названивает: звень-звень... звень-звень... Правда, хорошо? Правда, шарман?

— Хорошо-о, — кивает Митя. — Да только, я думаю, компотов там сейчас никто не распивает, а все стоят на своих боевых местах и смотрят: где враг.



— А я про что? И я про то же! — сразу, не задумываясь, переключается Саша. — Мы тоже будем смотреть. С мачты будем смотреть. Нам бинокли выдадут.

— Раньше ты говорил — автоматы.

— И автоматы, и бинокли, и ещё пистолеты!

— Ну, пистолеты вряд ли... Пистолеты бывают у командиров.

— Не только у командиров. Когда к нам на ленинградскую квартиру забежал в последний раз от папы матрос с запиской, у него, у матроса, на ремне висел пистолет. Вот такой! Большой... Маузером называется.

9

Мальчики шли, разговаривали, а хмурый, полный тревожных шорохов лес между тем кончился, и за последним поворотом с горки они увидели белеющие в ночи поля, тёмную прямую насыпь железной дороги и постройки долгожданного полустанка за ней.

Построек было немного. Крохотный деревянный вокзал с дежуркой, сарай для инструментов и длинный, в сугробах по самые окна барак, в котором квартировали дорожные рабочие и служащие.

Невдалеке от полустанка, среди полей раскинулось большое село по названию тоже Кукушкино. Его спящие избы и высокие вётлы сливались в один тихий тёмно-серый остров: там даже собак было не слышать.

А вот в окне дежурки мерцал огонёк. Слабое пламя керосиновой лампы освещало склонённую к самому столу чью-то голову в нахлобученной шапке. Хозяин шапки навалился лбом на составленные стопой кулаки — не то крепко спал, не то дремал.

— Дежурный по разъезду. Ты его не бойся. Он только к поездам и выходит, — сказал Митя, потому что бывал тут не один раз во время поездок с Филатычем на сельскую почту и в пекарню за хлебом.

Мальчики осторожно прошли мимо окна. Митя посмотрел вдаль, в сторону убегающих в темноту рельсов, и вдруг обрадовался:

— Смотри, смотри! Зелёный светофор зажёгся. Значит, поезд близко.

— Якши! — по-турецки и весело подхватил Саша и тут же, немедленно, взял командование в свои руки: — Ты, Митёк, зря не зевай. Ты делай, как я... Когда придёт поезд, ты смотри под вагоны, ищи собачий ящик. Увидишь первым, кричи мне. Увижу я, скажу тебе. И тут мы сразу в этот ящик — нырь! — и... поехали!

— Какой собачий ящик? Зачем? Где? — спросил неопытный Митя. — В нём что? Собаки ездят?

— Собаки не ездят... Это так говорится — «собачий», а ездят в нём ребята-беспризорники, безбилетники. У нас тоже билетов нет, значит, поедem в собачьем. Невелика важность... Лишь бы везло, ехало! Ведь верно?

Митя кивнул: «Верно!» Он и не подозревал, что Саша сам не имеет ни малейшего представления об этих ящиках. Саша про них только где-то что-то слышал, а может, читал в какой книжке о беспризорниках, но сам собачьих ящиков не видывал и видеть не мог. Саша ведь и на поезде-то прокатился всего-навсего один раз в жизни, когда его везли из Ленинграда в интернат.

И тем не менее мальчики не сомневались, что всё теперь будет «якши», что стоит прийти поезду и они тут же простятся с полустанком Кукушкино.

А поезд подходил. Далеко в полях пропел его чуточку печальный голос. Потом голос повторился, он прозвучал раскатистее, задорнее, слышнее, и на платформу вышел дежурный с зажжённым фонарём.

Дежурный поднял фонарь над головой, и через две-три минуты поезд вылетел из темноты, засверкал мощным прожектором паровоза, осветил чёрные шпалы, осветил длинные блестящие рельсы и, сильно расталкивая воздух, загрохотал мимо платформы, мимо дежурного, мимо вокзала, мимо мальчиков.

Поезд был грузовой, и полустанок он пролетел напролёт.

Поезд был с танками. Тяжёлые, чёрные, с грозно устремлёнными вперёд стволами пушек, они мчались мимо мальчиков друг за другом, и казалось, вся земля дрожит от их стальной тяжести. Казалось, это не поезд несёт их вперёд,



а сами танки несутся с грохотом и лязгом в ту западную сторону, где холодные ночные поля и ночное небо слились в одну мрачную полосу.

Танков было так много и они пролетали так быстро, что у Мити закружилась голова. Он наклонил голову вниз, а когда поднял, то грохот поезда уже затих, фонарь дежурного уже опустился, помелькал огоньком туда-сюда, поплыл за угол вокзала, там стукнула дверь — вот и всё!

— Вот и всё... — сказал Митя. — Как теперь быть?

— «Как быть, как быть»! Ждать, терпеть, — ответил Саша и махнул рукой в сторону вокзала.

— Пойдём, погреемся.

Греться пошли в зал ожидания. Там было тоже темно. Там даже и собственной руки было не разглядеть, лишь смутно белел квадрат выходящего на перрон окна. В зале стояла мозглая сырость, пахло, как в погребе.

Митя осторожно прикрыл за собою тяжёлую дверь на пружине, прошептал:

— Тут где-то печка...

Мальчики, натыкаясь на углы громоздких диванов, стали искать печку. А рядом, за тонкой стенкой, вдруг тихо зажужжало, негромко звякнуло, и мужской голос прокричал:

— Тюнино! Тюнино! 308-бис через Кукушкино проследовал. Вы меня поняли? Я вас понял. Ага!

За стенкой опять звякнуло, голос умолк.

— Дежурный по телефону разговаривает... Не шуми, а то услышит, — предупредил Митя и опять ударился коленкой о диван, и тут же наткнулся ладонями на железный округлый печной бок.

Саша тоже добрался до печки:

— Едва тёпленькая. Чуть живая...

— Я сам чуть живой. Есть хочется.

— Давай поедим. Провиант при нас.

Мальчики влезли с ногами на диван, прижались к печке. Саша старательно засопел, стал в темноте расстёгивать пальто, доставать провизию. В Митину ладонь ткнулась узкая плоская корочка.

— Ты что? Разве больше нет?

— Есть. Но больше, Митёк, нельзя. Я сам себе отломил столько же. Будем растягивать, будем терпеть до флотского пайка.

— Дотерпим.

— Конечно, дотерпим.

После корочки хлеба и разговора о флотском пайке мальчики опять приободрились, но бодрость их была теперь совсем не та, что раньше. Ночь шла на убыль, а пассажирский поезд с заветным ящиком всё не приходил и не приходил. Поезда мимо вокзала пролетали часто, но все они были грузовыми, все военными и все проносились напролёт.

— Смотри, Сашок, танков-то сколько... Пушек! Идут, идут и всё идут. Где их только мастерить успевают? — сказал шёпотом Митя.

— На Урале. Где же ещё? В той стороне, откуда они идут. Там заводы, там кузница нашей победы... Помнишь, Павла Юрьевна говорила?

— Угу, — кивнул Митя и попробовал представить себе эту заводскую Уральскую кузницу.

Но заводов он никогда не видывал, а в кузнице бывал только раз, да и то в деревенской, когда вместе с Филатычем водил подковывать Зорьку. Но тут же вдруг и подумал, что если бы не потерял маму, не потерял сестрёнок, то и сам бы, наверное, сейчас жил на Урале, и потихоньку вздохнул.

Сначала мальчики на каждый грохот бросались к окну, а потом даже и от печки отходить не стали. Они прямо так от неё и смотрели на пролетающие за мутными стёклами огни паровозов да слушали выкрики за стеной:

— Тюнино! Тюнино! Сто двадцатый проследовал... Кирсаново! Кирсаново! Двести шестому путь свободен.

И каждый раз он там, в своей дежурке, хлопал дверью, выходил на платформу, пропускал мимо себя грохочущий состав и опять хлопал дверью, опять накручивал рукоять телефона, кричал в трубку и снова ненадолго затихал.

10

Митя подумал о дежурном: «Хорошо ему. Он работает, он у себя дома и ему хорошо. Ему бежать никуда не надо... Мне вот тоже, когда я работал в интернате — колол дрова, ездил за водой, было хорошо».

Но вслух Митя не сказал ничего. Саша мигом бы отрезал: «Опять трусишь?», а Митя несколько не трусил, ему просто так подумалось, вот и всё.

Вслух он произнёс:

— Хоть бы время узнать... А то сидим тут, ничего не ведаем: то ли ночь, то ли утро?

— Должно быть, скоро утро, — ответил Саша и слез на пол с дивана, стал ходить, неслышно ступая валенками. Он тоже сильно тревожился. Он думал о том, что если до рассвета они не уедут, то в интернате их наверняка хватятся, и тогда во веки веков им не видать никаких кораблей.

Тут опять зажужжала телефонная вертушка, и дежурный принялся выкрикивать не номера поездов, а совсем другое. Он закричал:

— Тюнино! Тюнино! Валя, позови Сидорчука... Что? Всё равно позови! Я сам двое суток не спал, я сам двое суток на

посту... Сидорчук? Ты что, Сидорчук, дрыхнешь, дрова не шлѐшь, пока у меня запасной путь свободен?.. Что? Не дрыхнешь? А почему дрова не присылаешь?.. Грузить некому? Сам грузи, Сидорчук, сам! Что? Как мои дела? Дела как сажа бела! Не поправляется напарник мой... Пряхин, говорю, не поправляется! Третьи сутки мне в одиночку не выстоять. Усну. Аварию сделаю... Ты, Сидорчук, давай дрова шли и на подмену мне хоть часа на два кого-нибудь... Ну, ну! До семи ноль-ноль я вытерплю, продержусь. Недолго осталось, полтора часика... Ты с ним, Сидорчук, и махорки пришли. Пришли, пришли, не зажимай! Я тут свою всю высмолил... Ну, будь здоров.

Дежурный повесил трубку, и Саша прошептал:

— Вот это да! Двое суток не спит, и хоть бы что. Двое суток не спать, наверное, трудно. Я вот, если сказать честно, уже сейчас где-нибудь в уголку прикорнул бы.

— Так ведь он на посту,— ответил Митя.— Кроме того, у него товарищ болен. Он за себя и за товарища работает.

— Мы тоже там, на корабле, будем стоять на посту за всех больных и раненых. Верно?

Митя, по своей привычке во всѐм соглашаться с приятелем, хотел сказать: «Верно!», да тут на него нахлынули такие мысли, что он опять промолчал.

«А ведь этому человеку за стеной не так уж и хорошо,— подумал Митя.— Ему скорее плохо, чем хорошо. Ему так плохо, так трудно, что он говорит: «На ходу усну!», а всё равно терпит. Он терпит, потому что его товарищ по фамилии Пряхин болеет, потому что война и заменить Пряхина и этого дежурного некому... Он мало того что терпит, он ещё дрова какие-то требует: наверное, тоже для Пряхина».

Митя вспомнил высокую поленицу за крыльцом интерната. Вспомнил, что вся она из толстых кражей и стоит совсем неколотая, а переколоть её в интернате не может никто, кроме Мити, ну, разве что Филатыч...

«Да и не только дрова. А печи топить? А за хлебом на рассвете ехать? А молоко на колхозной ферме получать? Неужели теперь всё это будет делать один Филатыч? Да и куда, и на чём он теперь поедет? Зорька-то наша теперь неизвестно, выходилась ли...

Вот у дежурного по разъезду товарищ болен, а у нас в интернате Зорька больна. Очень похоже получается... Похоже, да не совсем! Дежурный больного Пряхина не покинул, работает за него, а я Зорьку покинул. Я даже не знаю: как она там? Поправляется или не поправляется? А если не поправляется, то кто воды с ручья на салазках привезёт? Павла Юрьевна с Егорушкой, что ли? Или опять тот же Филатыч, у которого от старости и работы и так уже руки трясутся?»

Митя поёжился, слез с дивана, тоже заходил туда-сюда.

— Озяб? — сказал Саша. — Побегай, походи... Я вот походил и согрелся. Теперь скоро. Очень скоро.

— Откуда известно?

— Разве не слыхал, к дежурному сменщик едет? А если едет, то, значит, на поезде, который тут остановится. Может быть, этот поезд и есть наш — с ящичком! Так что, Митёк, собирайся! Будь готов, Митёк!

А Мите было уже не до поезда. У Мити голова раскалывалась от горьких дум. Он совсем не знал, что делать. С одной стороны, всё получалось теперь так, что надо бы вернуться, а, с другой стороны, выходило: если вернёшься, то совершишь предательство. Вернуться в интернат — это значит бросить Сашу здесь, на полустанке, ведь сам-то Саша назад ни за что не повернёт.

Митя ходил, думал, даже головой покачивал, как от боли, и Саша спросил:

— Ты что?

— Ничего. Просто Егорушку вспомнил. Егорушку жалко. У него сегодня день рождения, а дудочку ему я так и не подарил. Плакать будет Егорушка. Очень уж маленький он...

И тут вдруг Саша ни с того ни с сего подбежал к Мите, ухватил за пальто, резко, вплотную притянул к себе и сердитым и в то же время странно всхлипывающим голосом зашептал:

— Жалко? Тебе Егорушку жалко? А мне, думаешь, не жалко? А мне, думаешь, наплевать? Да если хочешь знать, так я Егорушку больше тебя жалею! Я ему сегодня весь свой сахар хотел за завтраком подарить. Весь целиком кусочек! И половину хлеба хотел подарить... Я ему сюрприз готовил, а ты говоришь — не жалею.

— Что ты, Сашок... Что ты... — испуганно забормотал Митя. — Я так совсем и не говорил, и даже не думал.

— Нет, думал! Думал, и вслух намекал! А мне намекать нечего. Я сам не меньше тебя переживаю. Да только что поделаешь? Тут одно из двух: либо на фронт ехать, либо с маленьким Егорушкой день рождения праздновать... Понял?

— Понял... — ответил Митя и хотел ещё что-то сказать, да не успел. За стеною громко, радостно закричал дежурный:

— Кукушкино слушает! Кукушкино слушает! Это ты, Сидорчук? А где Валя? Ко мне поехал? Вот спасибо, Сидорчук! Вот спасибо! Принимаю, принимаю... Пассажиров? Пассажиров у меня нет. Вас понял, Сидорчук.

— Митька! Поезд идёт. Пассажирский! — чуть не заголосил во всё горло Саша, да тут же мигом спохватился, замахал рукою: «Давай, мол, давай торопись!»

11

Мальчики выскочили на платформу. Они помчались по ней в ту сторону, откуда должен был показаться поезд. Но поезда пока ещё не было. В той стороне виднелись только уходящие вдаль телеграфные столбы, предрассветно туманились еловые перелески, а меж ними уходило к светлеющему горизонту совершенно чистое от снега, по-весеннему чёрное, обтаявшее до самой земли железнодорожное полотно. Зато из-за построек, прямо на платформу, прямо наперехват мальчикам, неожиданно-негаданно вывернулась толстая, востроглазая, в клетчатой шали и дублёном полушубке, женщина.

— Завпочтой! Тётя Клавдя... Она меня знает, — едва успел шепнуть Саше перепуганный Митя, а женщина широко и удивлённо растопырила руки, забасила:

— Кукин! Митя! Да ты откуда? А Филатыч где? Неужели в такую рань на пекарню приехали?

Митя растерянно мотнул головой: да, мол, приехали, а Саша, хотя эту женщину и видел впервые, зачастил:

— На пекарню, тётя Клавдя, на пекарню. Филатыч на пекарню поехал. У нас хлеб кончился. Завтракать не с чем! Хлеба в интернате ни крошки нет!

— Н-не знаю... — опять развела руками и с большим сомнением в голосе сказала женщина. — Не знаю... Вряд ли сейчас получите. Разве с вечерней выпечки сколько-нисколько осталось... Филатыч, поди, и ко мне там заглянет?

— Заглянет! Обязательно заглянет! — уже не мог остановиться Саша, а тётя Клавдия усмехнулась:

— Ну и бестолковый интернат сегодня. С чего это? Разве не знаете: и почты в такую пору не бывает никогда? Почта вот только сейчас прибудет, на поезде. А ты, Митя, почему с дружкой тут околачиваешься? Филатыч в пекарне, а ты здесь?

— Мы не околачиваемся, мы смотрим, Филатыч нам разрешил, — опять вывернулся находчивый Саша. А Митя как стоял столбом, как молчал, так и теперь продолжал помалкивать. Он лишь тихонько пошмыгивал носом и думал: «Вот влипли так влипли. Тётя Клавдия вернётся в село и сразу узнает: никакого Филатыча там и не было».

С перепугу Митя совсем запамятовал, что пока тётя Клавдия вернётся, они с дружкой будут уже в поезде, в ящике, и укатят далеко-далеко.

А Саша не забыл. Саша теперь спешно прикидывал, как бы от этой любознательной тётки поскорее избавиться. Он вежливо произнёс:

— Простите. Вам надо получать почту, а мы — к Филатычу. Оревуар! До новой встречи!

Саша приподнял ушанку, вежливо поклонился, а тётя Клавдия обернулась к нему, озадаченно повторила:

— Ревуар? Какой ревуар? Где?

И вдруг она посмотрела на Сашины ноги, да так и присела, и хлопнула себя по бокам, и захохотала:

— Ба-тю-шки! На ногах-то у тебя что! На ногах-то! Ой, уморушка!

Саша глянул вниз и сам чуть не ахнул. Правый валенок был на нём свой, серый, а левый — чужой. Он был сильно растоптан, от старости пегий и, судя по знакомой заплатке, он был не чей иной, как самой Павлы Юрьевны, заведующей интернатом. Саша даже пощупал валенок, даже извернулся и на пятку посмотрел, а потом изумленно произнёс:

— Пардон! Спутал в потёмках... Пардон.

— Что за пардон? Какой пардон? То ревуар, то пардон... Ты чего, паря, всё мелешь-то? — опять засмеялась тётя Клавдя, а Митя наконец набрался духу и тоже заговорил:

— Это он так, по-иностранному, извиняется перед вами. Извиняется и прощается. Нам и вправду пора. Мы пошли.

Митя тоже хотел проститься, но тётя Клавдя цепко ухватила его за рукав:

— Куда пошли? Зачем пошли? Раз Филатыч отпустил, помогите мне. Поезду остановка здесь — одна минута, мне лишние руки вот как нужны. Побежали со мной, побежали... К первому вагону побежали. Вон и поезд идёт!

Она ухватила Митину руку ещё крепче, побежала по перрону. Митя поневоле затопал рядом с ней. А Саше тоже деваться некуда. Саша тоже побежал, не отставал, только валенки — серый да пегий — замелькали.

И в это время пассажирский поезд с длинным, сильным, красно-зелёным паровиком «ФД» впереди миновал входной семафор, миновал стрелку, и, сбавляя ход, покатию по рельсам рядом с платформой, и вот — остановился.

Саша на бегу стал заглядывать под колёса, под вагоны, стал искать ящик. Но ящиков под вагонами что-то не было не видать. Там были только чугунные грязные цилиндры, толстые трубки, они шипели. Из-под вагонов Сашу обдавало мазутным холодным воздухом, и там пронзительно скрипели тормоза.

«Где они, ящики? Где? — торопливо соображал Саша. — Да и Митька, простофиля, бежит с этой тёткой, никак не вернется... Надо его, простофилю, выручать!»

Саша перестал заглядывать под колёса, помчался к почтовому вагону. Там во всю ширину раздвинулась высокая дверь, из неё, кем-то сильно брошенный, вылетел фанерный посылочный ящик.

Тётя Клавдя ящик ловко поймала, сунула Мите в руки. Митя быстро поставил ящик на снег.

Тётя Клавдя поймала второй ящик, опять сунула Мите, он и его поставил на снег.

А потом третий, а потом четвёртый, а потом какой-то тюк, а потом какой-то мешок, и Митя едва успевал нагибаться, едва успевал разгибаться, он уже ничего не соображал,



а только думал, как бы не грохнуть ящик на платформу, не расколоть вдребезги.

Саша подскочил, зашептал:

— Ты что? Ты что? Беги скорей, поезд отойдёт!

А тётя Клавдя сунула и ему ящик, и Саша тоже взял и тоже поставил, и тут совсем рядом, над самым ухом, заверещал кондукторский свисток, и — пых-пых! стук-стук! — поезд потихоньку тронулся с места.

Он пошёл, а из вагона с почтой вылетел ещё один пакетик — видно, последний. Тётя Клавдя изловила и его, машинально сунула Мите в руки. Митя хотел и этот пакетик опустить на платформу, да вдруг застыл. У Мити даже рот приоткрылся.

Нет, Митя смотрел не на поезд. Вслед уходящему поезду смотрел Саша.

Саша даже побежал было за уплывающими подножками, но, чувствуя, что Митя не трогается с места, и сам остановился.

Он посмотрел, как, покачиваясь, удаляется красный кружок на последнем вагоне, судорожно вздохнул, насупился и обернулся к Мите.

А Митя, его надёжный компаньон Митя, даже и краешком глаза не посмотрел вслед поезду. Да мало того, что не посмотрел, он даже и не шелохнулся. Для Мити поезда словно и не бывало.

Митя, похоже, про поезд совсем и не думал: с таким странным видом стоял он сейчас на платформе и так пристально разглядывал тот самый пакет, который только что упал ему в руки.

Лицо у Мити было такое, будто он увидел в собственных руках луну или ещё что-то не менее удивительное. Митя разглядывал пакет и всю улыбался.

— Ты чему это радуешься? — подскочил к нему Саша. — Ты чему, разиня, радуешься? Тому, что поезд упустили, да?

Но Митя и этих слов будто не понял. Он очумело взглянул на товарища, потом торжественно, обеими руками вознёс пакет впереди себя и повернул его так, что Саша сам хотел не хотел, а уставился на пакет.

На нём, на грубой, толстой парусине, в которую пакет был зашит, чётко виднелась фиолетовая, чернильная надпись:

ЭНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУКУШКИНСКИЙ РАЙОН
ДЕТСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3
ДМИТРИЮ КУКИНУ.

А чуть пониже обратный адрес:

П/П 1928 Н. И. БАБУШКИН.

И тут Саша сам позабыл про поезд. Он забыл даже про тётю Клавдю, которая в это время пересчитывала разбросанные ящики, составляла их горкой.

Саша выхватил из Митиных рук пакет, ещё раз перечитал оба адреса — перечитал и сказал:

— Ну, Митя... Ну, Митя... — а дальше сказать ничего не мог.

А тётя Клавдя:

— Раз, два, три, четыре, пять! — досчиталась до этого пакета, ткнула в него пальцем: — Шесть! — и вдруг тоже удивилась: — Вы зачем его схватили? Зачем? Положите. Он ведь не ваш...

— Наш! — с ликованием в голосе крикнул Саша. — Наш! Вот его — Дмитрия Кукина.

Тётя Клавдя изумлённо подняла брови, наклонилась к Саше, к пакету:

— Ну-ка, ну-ка... Ой, и верно! Кукину... Дмитрию... От кого это тебе? От какого-то Бабушкина с полевой почты... От какого Бабушкина?

— От лейтенанта. От Н. И. ... — осевшим голосом просипел Митя и потянулся к пакету.

— Это как понимать — «Н. И.»? Имя-отчество говори полностью, — сказала тётя Клавдя и отнесла руку с пакетом в сторону.

Митя перепугался, что пакет она не отдаст, и растерянно прошептал:

— Так я же не знаю...

— Ах, не знаешь! Может, ты и своего имени не знаешь? Может, ты совсем и не Дмитрий? Может, у вас в интернате

какой другой Дмитрий Кукин есть? А ну, показывай паспорт!

Тётя Клавдя вроде бы шутила, а вроде бы и не шутила. Испуганный Митя разобрать этого не мог. На глаза у него навернулись слёзы, да тут опять вмешался Саша. Он закричал:

— Да вы что? Почему же он не Дмитрий, когда он — Митя! А от Бабушкина у него письмо есть — в кармане, в курточке. Митя, покажи ей письмо!

Митя стал расстёгивать пальто, чтобы добраться до курточки, а тётя Клавдя увидела, как пальцы у него дрожат, не могут нашарить петельки пуговиц, испугалась и сказала:

— Не надо, не надо. Я ведь смеюсь... Бери свой пакет, только распишись вот здесь.

Она вынула из кармана полшубка химический карандашный огрызок, стопку бумажек, и на одной бумажке Митя вывел свою фамилию: «Кукин». А потом подумал и добавил для верности: «Дмитрий». Он хотел ещё написать: «Семёнович», да тётя Клавдя отняла бумажку, засмеялась:

— Хватит, хватит. И так всё теперь понятно, и так всё теперь законно. Бери пакет.

— Его можно уже и раскрыть? — спросил Митя.

— Можно, да потерпи чуть-чуть. Сперва помогите мне почту до саночек донести. Они у вокзала стоят.

Митя сунул свой пакет за борт пальто, с готовностью схватил сразу пару посылок, Саша тоже взял пару посылок, а тётя Клавдя — посылку, тук и мешок.

Они пошли по платформе и там, в самом конце, увидели двух железнодорожников в чёрных узких шинелях и в чёрных зимних шапках. Железнодорожники разговаривали, смеялись. Один из них свёртывал папироску, и был он очень высокий, худой, с лохматыми седыми бровями над горбатым носом, а второй был маленький, молоденький, с розовым лицом.

«Наверное, тот большой — наш дежурный, а тот маленький — Валя, — подумал Митя. Подумал, сразу вспомнил про своё беглое положение, и сердце у него тоскливо заныло: — Неужто Саша опять будет ждать поезда? Неужто опять побежим?»

Он опасливо покосился на Сашу, но тот спокойнѐхонько

нёс посылки, на Митю не смотрел, сигналов никаких не подавал. Тогда Митя нежно, подбородком, погладил торчащий на груди пакет. Ему не терпелось узнать: что там? Ему так не терпелось, что он первым добежал до саночек и, поскорее освобождая руки, бросил ящики на саночки.

Саша тоже разгрузился, и прямо тут, на посылках, мальчики принялись тормошить пакет.

— Господи! — сказала тётя Клавдия. — Вот нетерпёны... Без ножниц, прямо зубами шпагат рвут! Пошли бы ко мне на почту, там бы и распечатали. Не рвите, не рвите, давайте помогу.

Ей ведь и самой страсть как хотелось увидеть, что там такое прислал Мите Кукину лейтенант Бабушкин.

А мальчики грубые, толстые швы уже раздёрнули, и внутри под упаковкой оказались ещё два отдельных, замотанных в бумагу пакетика.

— Давай, разматывай! — сказал Саша, и Митя принялся разматывать первый свёрток.

Он разматывал его очень бережно. Он разматывал его очень тихо. Он разматывал так медленно, что Саша крикнул:

— Да скорее же!

И Митя развернул и сразу сказал: «Ох!», и, сверкнув золотом якорей и прошуршав чёрным шёлком ленточек, перед всеми возникла великолепная матросская бескозырка.

Митя опять вздохнул:

— Ох!

Тётя Клавдия произнесла:

— Ну и ну!

А Саша сказал:

— Вот так да! Ну-ка, надень-ка!

Митя снял ушанку, надел бескозырку.

— Идёт! В самый раз... — похвалил Саша, а тётя Клавдия добавила:

— Вылитый гвардеец! Настоящий моряк, да и только!

Митя протянул бескозырку Саше:

— На, Сашок, и ты примерь.

Но Саша мужественно отказался. Саша сказал:

— Не надо. Посылка твоя, значит, и бескозырка твоя. Давай дальше смотреть.

А дальше обнаружили не менее интересные вещи. Синий с красным, шестигранный командирский карандаш «Тактика» с двумя наконечниками из новеньких, с медным блеском автоматных гильз, огромная, шириной с ладонь, плитка шоколада под названием «Золотой якорь» и письмо!

Совсем небольшое письмо, но зато всё целиком — для Мити.

Сказано в письме было вот что:

«Дорогой братишка Митя! Шлю тебе свой краснофлотский привет и сердечный поклон от всего нашего экипажа. Про тебя, браток Митя, мы узнали из Сашиных писем. Письма читали все моряки, и вот выносят тебе краснофлотскую благодарность за то, что ты там, в героическом тылу, в интернате, с честью несёшь свою трудовую вахту. Это нам, фронтовикам, большая подмога.

А от себя, Митя, лично, я шлю посылку. Она, браток, маленькая, да, сам понимаешь, с фронта посылки посылать трудно. Надеюсь, что после победы встретимся, тогда подарков будет больше. А пока напиши мне поскорее ответ и обрисуй в нём подробно все свои дела.

Наши боевые дела идут отлично. Бьём фашиста-захватчика, скоро ему придёт полный конец.

Привет Саше Елизарову, вашим старшим товарищам — Филатычу и Павле Юрьевне — и вообще всему интернатскому экипажу.

Крепко жму твою трудовую руку. Лейтенант Бабушкин. А попросту — Николай Иванович».

Письмо прочитали все сразу. Митя держал его открыто, читал молча. Саша тоже читал молча, только тётя Клавдия произносила каждую фразу вслух. А потом от себя добавила:

— Вот это человек так человек! Сразу видно, душевный. Сразу видно, заботливый...

А Митя прочитал письмо до конца, до последней точки и так разволновался, так разволновался, что и словечка сказать не мог. Когда же услышал, как тётя Клавдия хвалит лейтенанта Бабушкина, так сразу выхватил из растерзанного пакета шоколад, всю плитку, и стал совать ей в руки:

— Это вам! От него!

— Что ты, что ты! — заотмахивалась тётя Клавдя. — Что ты! Таким гостинцем не меня надо угощать. Этот гостинец ты у себя там на всех ребятишек разделишь. То-то им будет радость! Нет, не возьму и не возьму.

Митя схватил двухцветный карандаш, протянул Саше:

— Тогда ты, Саша, себе вот это возьми!

Саша карандаш взял, осмотрел, даже понюхал, потому что новенькие карандаши пахнут несколько не хуже самого лучшего шоколада, но тоже сказал:

— Нет!

И он сказал не только «нет». Он подумал, подумал и тихонько произнёс вот ещё что:

— Мне, Митя, ничего не надо. Я от лейтенанта Бабушкина привет получил, и на том спасибо. Мог бы и не получить... А карандаш подари лучше Егорушке. Вместо дудочки. Ведь у него сегодня день рождения.

Митя, когда услышал такое, даже собственным ушам не поверил. Он заглянул Саше прямо в глаза и медленно переспросил:

— Как так Егорушке? Ты, значит, согласен, чтобы я вернулся? А ты сам? Ты сам тоже идёшь со мной?

— Иду, Митя, — сказал Саша. — Конечно, иду... После такого письма куда ж нам идти?

— Только домой! Ответ лейтенанту Бабушкину писать! — просил Митя.

— Конечно, ответ лейтенанту писать, — тоже легко вздохнул Саша и добавил: — Собирай багаж. Побежали! К дому побежали!

Мальчики сами не заметили, как впервые за все два года жизни в этом краю назвали свой интернат не интернатом, не школой, а домом. Они стояли, разговаривали, а тётя Клавдя смотрела на них и ничего не понимала.

— Вы о чём, ребятишки? Как это так — домой, когда у вас Филатыч где-то здесь, в селе?

— А мы с ним всё равно встретимся! — улыбаясь, махнул рукой в сторону лесной дороги, в сторону интерната Митя. Разговаривать с тётей Клавдией он теперь не боялся, потому что всё теперь было честно, всё правильно.





Митя даже помог тёте Клавде стронуть гружёные саночки с места, спросил:

— Одна довезёте?

— Довезу. Сегодняшний груз невелик, я и больше ваявала... Ступайте. Счастливо вам!

— И вам счастливо! — сказали мальчики, завернули опять в парусину Митину посылку, взялись за руки и побежали по тропке сначала через рельсы, потом через поле — прямо к лесной дороге.

А вокруг уже рассветало. Серая ночная мгла в небе распахнулась, превратилась в пушистые облака. Навстречу облакам всплеснулись яркие лучи, и опять по всей земной близине, по блескучему полевому насту протянулись от каждой торчащей из-под снега былинки, от каждого снежного заструга длинные голубые тени.

Мальчики выбежали на санную дорогу, помчались в гору, и вдруг навстречу им из-за этой горы вынырнула тёмная лошадиная голова с дугой, потом вся лошадь, а за ней санирозвальни. В санях стоял на коленях человек, солнце светило ему в спину, и весь он казался чёрным.

Лошадь тоже казалась чёрной. Только передние ноги у неё ниже колен были белыми, словно в белых, невероятной чистоты чулках. Бежала она ходкой рысью.

У Мити ёкнуло сердце:

— Неужели Филатыч на Зорьке?

Саша прикрылся ладонью от солнца, посмотрел, сказал:
— Непохоже... Эта лошадь совсем другая. Видишь, ноги белые.

Но это была всё-таки Зорька, а в санях — Филатыч. Он узнал мальчиков первым, остановил Зорьку, выскочил из саней. Он побежал к ним с широченным тулупом в руках, на ходу раскрывая его, распыливая, и мальчики смотрели на Филатыча и не могли понять: к сему здесь тулуп?

Они прижались друг к другу. Они ждали: сейчас на них обрушится кара, но обрушился на них и накрыл с головой только вот этот мохнатый тулуп. Филатыч как добежал до них, так только и сделал, что накрыл обоих, как неводом, овчинным тулупом и крепко стянул края широкополой одежды руками, запричитал, заприговаривал:

— Матушки мои! Вот вы где! Нашли-ся! А мы-то с Юрьевой чуть ума не лиши-лись! Пойдёмте, матушки мои, пойдёмте! Поедемте домой...

Он даже не спрашивал, куда и зачем убегали мальчики. Он только так вот их, укрытых тулупом, и подталкивал к лошади, подталкивал к саням и всё уговаривал:

— Пойдёмте, пойдёмте...

Мальчики растерялись. Такая встреча сбила их с толку. Им обоим стало как-то не очень уютно, не очень хорошо и даже совестно, что дряхлый, бородатый Филатыч так возле них суется. Саша выскользнул из тулупа, обернулся к старику и, боясь поглядеть ему в глаза, проговорил звонким от напряжения голосом:

— Товарищ Филатыч! А товарищ Филатыч!

— Што? — испуганно спросил тот.

— Вы, товарищ Филатыч, не думайте: не из-за вас мы убежали... Мы по ошибке убежали. И эксплуататором, товарищ Филатыч, я вас неправильно назвал.

— Да господи! Да об чём речь! — воскликнул тонким голосом старик, взмахнул руками, и тулуп с Мити свалился на дорогу. — Да разве я... Да какое такое тут может быть думанье! Не было ничего, и — шабаш! Вот как!

Старик ещё раз махнул рукой, словно что-то отрубил, даже притопнул валенком и сказал уже совсем иным, твёрдым, своим всегдашним голосом:

— Садитесь! Поехали! Теперь, считай, всё в аккурате.

— И Зорька в аккурате? — робко спросил Митя.

— Считай, да. Видишь, головой тебе машет? Иди, погладь.

— А ноги?

— Что ноги?

— Это вы ей так забинтовали?

— А то кто же? Ещё с недельку побинтуем, а там совсем пройдёт.

— И жеребёночек у неё будет?

— Будет, будет. Ладно, что ты сумел её тогда распрячь. Ладно, вызволил из полыньи... Иди с ней поздоровайся да поехали.

И вот опять тёплые Зорькины губы ткнулись в Митину ладонь. И опять он стоял и гладил её шелковистую шею, а Зорька всё поматывала головой и даже обнюхала оттопыренное на груди Митино пальтецо, обнюхала то место, где лежал пакет от лейтенанта Бабушкина.

— Потерпи, Зоря, потерпи... — шепнул ей Митя. — Вот приедем домой, и покажу. Всем покажу, и тебе покажу.

А потом, когда поехали домой, усталых мальчиков свалила дремота, и, лёжа под мягким, тёплым тулупом, Митя увидел сон. Ему приснилось лето, высокая трава, и шагают будто бы они по этой траве с лейтенантом Бабушкиным. Трава очень большая, раздвигать её ногами трудно, и лейтенант Бабушкин говорит: «Что мы так тихо идём? Давай помчимся!» — «Давай», — говорит Митя, и вот перед ними возникают два длинногривых коня. Один конь — это Зорька, второй конь — это взрослый её жеребёнок. Он тоже гнедой, только во лбу у него белая звезда.

И лейтенант садится на Зорьку, Митя на жеребёнка, и они мчатся. Они даже не мчатся, они — летят. Они несутся над зелёным лугом, над пшеничным полем, над макушками сосен, а под соснами школа и рядом с ней широкие ворота.

Коня опускаются на тропинку у самых ворот, пофыркивают, помахивают головами, а на воротах белое полотнище, и на нём голубыми очень большими буквами написано:

ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН!

«Это от тебя, Николай Иванович, мне привет?» — спрашивает Митя Бабушкина, и лейтенант отвечает:

«От меня, Митя, от меня... Я теперь тебе всегда буду присылать приветы, всю жизнь!»

Митя засмеялся во сне, задел откинутой рукой Сашу. Тот во сне тоже улыбнулся и вдруг произнёс громко, сразу на трёх языках:

— Шарман! Вери вел! Май-о-о!

Филатыч посмотрел на спящих мальчиков и, словно поняв Сашины слова, по-русски добавил:

— Верно, сынок, верно. Всё хорошо, что хорошо кончается.

Потом о чём-то подумал, с усмешкой покачал головой, повторил свои мысли вслух:

— То-ва-рищ Филатыч... Товарищ, да ещё и Филатыч! Ну надо же такое сказать...

Он причмокнул на Зорьку:

— Но, Зоренька! Но, милая! Топай скорее... Товарищи проснутся, поди, есть захотят.

И Зорька затопала скорее, она тоже торопилась к дому.





СЕРЕБРЯНАЯ ТРУБА

а сумеречным окошком прохрустел снег. Мать живо обернулась к Володьке:

— Девочки с папой! Встречай их скорей!

Володька полез из-за стола, а набухшую дверь уже кто-то с той стороны из сенцов дёрнул, она крякнула, распахнулась, и в натопленную избу хлынуло белое облако пара.

Облако рассыпалось мигом. И вот в толстых платках, в толстых одежках у порога стоят, растопыривают смешно руки,

топочут мёрзлыми валенками девочки-двойняшки, Володькины сестрёнки — Танюша с Марфушей.

Девочки хохочут. Девочки, укутанные так, что и глаз почти не видать, пищат что-то весёлое, а отец тоже тут, он тоже смеётся.

Отец стаскивает с себя широченный тулуп. От этого тулупа, от нахолодавших одежек Танюши с Марфушей по всей избе идёт зябкая свежесть. И босой Володька переступает с ноги на ногу, ёжится, но и ему весело.

Володька вместе с матерью тормозит сестрёнок, помогает им распутывать платки, почти кричит:

— Вы чему так радуетесь? Ну чему? Говорите скорей!

А девочки, сказав: «Ух!», наконец-то изо всего высвободились, стали тонкими, лёгкими.

Обе в школьной форме, обе белобрысые, с холода румяные, они запрыгали в чулках по мягким половикам:

— Каникулы, каникулы, каникулы!

— Начались, начались, уже начались!

Потом почти враз объявили:

— Завтра в школе новогодний праздник. Завтра утром папка опять повезёт нас в школу. Жанна Олеговна подготовила целый концерт, а Иван Иванович сыграет там на серебряной трубе!

— Ну-у! На серебряной? — изумился Володька. — Тогда, значит, и я поеду.

Отец подхватил Володьку, закружил и тоже, почти как девочки, заприпевал:

— Брось, брось! На дворе стужа, и ты ведь не школьник. У тебя дома будет праздник свой.

— Мы, Володька, съездим и всё тебе расскажем, — поддержали отца девочки.

Танюша, кроме того, добавила:

— Не расстраивайся. На ту зиму подрастёшь, возьмём и тебя.

Но Володька из рук отца вывернулся, закричал:

— Ах, так? — Он показал девочкам на всё ещё лежащие у порога, настылые, с тусклыми пряжками, толстые портфели: — Ах, так? Бычков с рожками рисовать, цветы-ромашки вам в альбомах раскрашивать я, значит, нужен сейчас? А как

слушать серебряную трубу, так только через год на другую зиму? Нет уж! — Он сам, словно упрямый бычок, устоял на отца: — Завтра не возмёшь — всё равно за санями побегу!

И тут веселье в доме нарушилось. Всегда сговорчивый отец развёл руками:

— Чего нельзя, того нельзя...

Мать рассердилась по-настоящему:

— Это что это за атаман такой у нас объявился? Это что это за вольник? Ишь, за санями он наладился... Я тебе налажусь! Я тебе побегу! Валенки спрячу, и никуда ты не денешься. Иди допивай молоко да марш в постель!

И Володька, зная нрав матери, молоко допил, отправился безо всяких яких за тёмную переборку на свою постель.

Реветь он, конечно, не стал. Он сам был с характером. Он лишь у себя там, за переборкой, принялся вздыхать, пыхтеть и пыхтел до тех пор, пока жалостливые девочки не пришли к нему шептаться.

Танюша повторила прежнее:

— Мы, честное слово, Володька, тебе всё расскажем.

Марфуша утешила тоже:

— В школе после концерта будут раздавать гостинцы, так мы их сбережём для тебя.

Но Володька слушал всё это молча, от девочек отворачивался. Лишь спустя время в подушку пробубнил:

— Не надо никаких гостинцев. Вы лучше, как утром проснётесь, так разбудите и меня.

— Разбудить? К чему? — удивились девочки. — Разве не видишь, что теперь вышло?

— Ничего ещё не вышло! — запыхтел Володька опять, и тогда девочки сказали, что ладно, ладно, непременно разбудят.

А потом во всей засыпающей деревне и в избе всё притихло по-настоящему, по-ночному. В окошке напротив Володькиной кровати всплыл узенький месяц. И Володька глядел, вспоминал свою давнюю и пока что единственную встречу с заведующим школой, с тем самым учителем Иваном Ивановичем, который завтра собирается играть на серебряной трубе.

В прошедшее лето по тропке к дому — ну совсем как комбайнёр с поля! — лихо подкатил на велосипеде загорелый парень в лёгонькой рубашке, прыгнул на траву рядом с ребятами. Он встал над Володькой, над девочками, которые тут под плетнём в холодке на скамейке сидели, весело ногами болтали, и сам им весело сказал:

— Здравствуйте! Нельзя ли потесниться?

— Можно! — ответили ребята.

И он сел, спросил, по скольку кому лет. Когда же узнал, что Марфуше с Танюшей почти по семи, то велел им бежать в дом, звать папу или маму. А в кулаке у Володьки увидел рябиновый свисток:

— Ого! Инструмент.

Володька не очень понял, засмеялся, гостя поправил:

— Свистулька... Папка мне вырезал.

— Отлично вырезал. Но тут нужна ещё одна дырка. Разрешаешь?

И в руках гостя, откуда ни возьмись, заблестел перочинный ножик. Он им быстро свисток ковырнул, поднёс к губам, надул щёки, стал длинными пальцами дырки закрывать, открывать. И тот самый свисток, про который мать говорила, что от него лишь звон в ушах да боль в голове, вдруг залился, защёлкал, совсем как пичуга на ветке.

— Клю-клю-клю! Чок-чок-чок! У Ер-рошечки в сумке кр-рошечки! — повторил словами птичью песенку, засмеялся снова Володька.

— Точно! — похвалил гость. — Слух у тебя отменный. Можешь сыграть не хуже меня.

Но тут с отцом, с матерью прибежали сестрёнки. И все заговорили, что Танюше с Марфушей в школу записываться, конечно же, пора, все стали благодарить, что спасибо Иван Иваныч сам сюда для этого заглянул; и вот только тогда Володька понял, что перед ними никакой не комбайнёр, а учитель.

Потом родители стали приглашать Ивана Иваныча в избу пообедать, но он сказал: «Спасибо!», подмигнул Володьке, засмеялся: «Клю-клю-клю!» — и уехал.

А больше с Иваном Ивановичем Володька не встречался никогда. Но и всё равно, хотя рябиновый свисток давно

высох, смолк, Володька ту летнюю встречу помнил. Помнил и, крутясь на жаркой подушке, думал теперь: «Что это всё-таки у Ивана Ивановича за серебряная труба? На что она похожа? На месяц в нашем окошке, что ли? Про месяц тоже вот говорят: серебряный да серебряный...»

И Володька, то ли шутя, то ли всерьёз, а может, уже в полусне всё пробовал до месяца дотянуться. Но и каждый раз, то корова в хлеву рогами стучала, то сонные девочки в избе за переборкой начинали бормотать, то кот с лавки спрыгивал, месяц ускользал на своё законное место.

Наконец Володька уgomонился, нашёл щекой на подушке удобную ямку, крепко задремал. А наутро вскочил — в окошке синь, солнце, в избе тишина.

— Что такое? — так и сорвался Володька с кровати, заглянул в другую комнату.

В комнате на столе попискивает самовар, под столом умывается кот. И — всё! И больше никого...

Володька ударил в дверь, вылетел на крыльцо.

А там — на дворе мороз и яркие от инея берёзы. А там — по снежному полю за околицей уходит по накатанной дороге к бору гнедая лошадь с санями, полными седоков. И ясно, что седоки — это отец, девочки и все здешние, деревенские школьники.

— Не разбудили! Бросили! — закричал Володька.

Он повернулся в избу, пальто, шапку накинул мигом, а вот обуваться-то было не во что. Валенки на постоянном месте, на краю печки, не оказалось. Не нашёл их Володька и на самой печке. Торопливо шаря и везде лазая, наткнулся он лишь в тёмном углу а полатах на резиновые красные сапоги, в которых мать по осенней распутице ходила на ферму, на колхозную работу.

Мать, конечно, и сейчас ушла на работу. Но в отличие от забывчивых Танюши с Марфушей слово своё вчерашнее сдержала и Володькины валенки запрятала так, что искать их теперь, переискать, ни за что не отыскать.

Володьку от такого бесчестья бросило в жар. Но он тут же и махнул: «Ладно!» И не прошло минуты, застучал каблуками этих вот красных сапог по ступенькам крыльца, за-сверкал по белой тропе двора.

Сапоги, несмотря на то, что Володька насовал в них всяких разных подбоек, были ещё и порядком великоваты. На ходу они от излишнего в них воздуха громко похрюкивали. Но гладкие, тонкие, они зато легко сгибались, весу в них было не много, и Володька мчался, ходу не сбавляя.

Притормозил он лишь раз, когда увидел у соседней калитки старика Репкина.

— Дедушка Репкин, а дедушка Репкин! Пойдёт с фермы мама, скажи ей, я побежал в школу на концерт.

Глуховатый Репкин приподнял шапку:

— Куда побежал?

— На концерт, на выступление!

— А-а... Оно и понятно. По сапогам понятно. В таких только и выступать. Ну, беги, беги, выступай... Матери доложу всё в точности.

И Володька надал ещё пуще, потому что подвода там, за краем поля, уходила в сосновый бор, за яркие чёрточки деревьев.

Но, в общем-то, при всём при том, как теперь получалось, Володька настигать её впритык уже не собирался. Осклизаясь, чуть не падая, он бежал лишь до той поры, пока в морозно-дымчатой глубине леса не услышал ребячьего голоса. А потом, когда различил и мёрзлое, медленное постукивание саней, то и сам, прячась за поворотами, за соснами, пошёл тише.

Он утирал шапкой мокрое от пота лицо, шёл, слушал, обижался опять.

«Им — что! — думал Володька про седоков-ребятишек, а главное, про сестрёнок. — Им — что! Они — в компании. Они едут, радуются, словно никого сегодня и не подводили, словно обещаний своих не забывали. Ну что ж, пускай будет так. Лишь бы меня папáнька не приметил, а уж потом-то они ахнут, когда я на школьном празднике всё-таки окажусь!»

И Володька до села, где находилась школа, вслед за санями добрался, и никто его в самом деле за весь путь не увидел.

Правда, один раз, уже на выезде из леса, отец вдруг словно бы что-то почувствовал. Натянул вожжи, оглянулся быстро, но и Володька присел быстро — накрыл пальцем



красные сапоги, и среди придорожных вешек-ёлок, наверное, показался отцу всего лишь тоже тёмной вешкой.

Куда трудней всё пошло возле школы.

Рубленая из толстенных брёвен, но при этом небольшая, она выглядывала из-под белой крыши весёлыми, в крашенных наличниках окошками, смотрела узким крыльцом прямо на сельскую площадь. И отец как подкатил к крыльцу да как высадил всех шумных своих пассажиров, так тут и застрял.

Из саней он вылез, рукавица об рукавицу похлопывает, с валенка на валенок попрыгивает, — никуда не отходит.

А Володька смотрит из-за ближней избы, тоже начинает попрыгивать. «Неужто папанька так и будет на одном месте торчать? Тогда я тут под чужими окошками в сосульку превращусь... Это бежать в резиновиках было ничего, а стоять в них, ждать на морозе — ёюшки!»

Но, на Володькино счастье, с другой стороны к школе подъехала ещё одна подвода. С неё тоже ссыпались ребятишки. Они тоже с визгом, с хохотом скрылись за дверью школы, а бородатый, в фасонистой шапке пирожком возчик отцу закричал:

— Ты уже тут? Давай поставим лошадей к сватье да и сами глянем, что тут за концерт-представление... Вспомняем и мы, так сказать, своё золотое детство!

И мужики засмеялись, упали в сани, погнали рысцей мимо заиндевелых палисадников к какой-то там сватье, а Володька, так весь и приседая от холода, кинулся к школьному крыльцу.

За обитой войлоком дверью он сразу попал в шумную толчею, в теплынь. Школьники тут — все мал мала меньше — галдели, грудились у вешалок. Все старались раздеться первыми. А толстая, рябая, могучая ростом нянечка шумела пуще всех. Она командовала густым басом:

— Иванов! Шапку свою в карман не запикивай! Положь, как полагается, на полку...

— Сидоров! Опять тебе шубейку вешать не за что? Опять явился без петельки? Клади одёжу в угол, петельку будешь потом пришивать со мной!..

— Петрова! Ох, Петро-ова... Ну, умница... Ну, славница... Туфельки с собою привезла! Валенки теперь сымает, туфель-

ки надевает, сама с ноготок, а всё она умеет, всё у неё честь по чести, — ну, прямо как у большой. Смотрите на неё, девчонки, учитесь!

Володька подходить к вешалкам даже близко не стал. Он мигом понял: ему, чужому, на глаза этой нянечке лучше не попадаться. И пока нянечка расхваливала какую-то там «славницу» Петрову, он боком, боком, скинул шапку, проскользнул за толпою в другую дверь.

За той дверью в зале, а вернее, в освобождённой для этого классной комнате сияла ёлка. Окна все были закрыты шторами, и при уютных огоньках ёлки ребятишки скакали тут, как хотели. Кто, нацепив петушинные, ежиные и заячьи рожицы-маски, кто просто так, — они пищали, кукарекали, кричали единственной здесь распорядительнице:

— Жанна Олеговна! Попрыгайте с нами ещё чуть-чуть!

А она уж, видно, и попрыгала, и поплясала. И теперь — тоненькая, очкастая — вся от волнения, от жары пунцовая, всё пыталась ребятишек уговорить:

— Спокойно, дети, спокойно! Пора по местам.

Но всё равно не утихал никто.

Только Володька, чтобы не маячить на виду, да ещё и потому, что в весёлой толпе промелькнули Танюша с Марфушей, стал быстро высматривать себе местечко.

И он его нашёл рядом с белеющим широкою скатертью столом. Стол был завален бумажными пакетами. От пакетов, как в магазине, шёл конфетный аромат, да Володька принюхиваться, приглядываться к пакетам, конечно, не стал. Он лишь скромно примостился в уголке на стуле, скромно подткнул под себя пальто и шапку.

А галдёж между тем всё ширился. Кроме того, в коридоре куда как радостно забасила опять нянечка:

— Раздевайтесь, гостеньки, проходите! Нет, постойте, я вас сама проведу.

И тут Володька видит: она — в зале, а рядом стоят, одёргивают мятые пиджаки, смущённо приглаживают красными от холода ладонями свои встрёпанные макушки тот бородастый возчик и его, Володькин, отец.

Они топчутся, не знают куда себя пока что девать, к ним подлетает теперь Жанна Олеговна:

— Конечно, дорогие товарищи, проходите! Конечно, мы вам очень рады! Только просим прощения — у нас тут шум.

Мужики смущаются ещё больше: «Ничего, мол! Мы и при шуме постоим...» А нянечка — раз, два! — мигом и тут приняла на себя командование:

— Это ты, Иванов, что ли, шумишь? Это ты, Семёнов, петухом кукарекаешь? Это ты, Сидоров, являешься каждый раз без петельки, да ещё и не слушаешься? Смо-отрите у меня!

И пошла распоряжаться, пошла. И, странное дело, ребятишки начали утихать, рассаживаться по местам.

Жанна Олеговна развела руками:

— Милая Дуся, что бы мы делали без вас! Усадите тогда, пожалуйста, и гостей, а я побегу готовить артистов.

— Счас, мужики, определю и вам местечко... — заулыбалась довольная похвалою нянечка.

И вот она этакой башней стоит, поверх ребячьих голов глядит, медленно поворачивается в ту сторону, где Володька.

Тот полного её разворота дожидаться не стал. Мигом вместе с пальто, с шапкой съехал под столешницу, нырнул за свешенную скатерть, а нянечка ведёт мужиков именно сюда.

— Вот здесь будет спокойней... Вот тут присяду и я с вами.

И начинает с грохотом передвигать стулья, устанавливая их перед самым Володькиным укрытием.

«Всё! — охнул про себя Володька. Теперь ничего не увидеть, вот влип так влип!»

И — верно. Как бы ни пригибался Володька к единственной светлой полоске меж полом и краем скатерти, а всё равно, кроме ножек стульев, кроме мокрых от обтаявшего снега валенок отца, да меховых бурок возчика, да нянечкиных толстых пяток в широченных шлёпанцах, ничего разглядеть теперь уже не мог.

Разглядеть не мог, но — слышал. Грузная нянечка скрипела хлипким стулом и, всё ещё гордясь тем, что её недавно похвалили, мужикам разъясняла:

— Вы, мужики, не сомневайтесь... Жанна Олеговна хотя в учителях первую зиму, а тоже на школьную работу шибко способная. Сам Иван Иванович говорит: «Способная!» Только

вот ребятишки что-то нисколько её не боятся, а так она у нас — ку-уда там! Весь концерт нынче поведёт. Да вы и сами скажете: «Молодец!», как только на всё глянете.

Возчик с отцом весело поддакивали, а Володька приуныл пуще. «Глянешь у тебя... Кто глянет, а кто нет!» — думал он про нянечку, но та уже забухала в ладоши:

— Артисты идут! Артисты идут!

Захлопал, зашумел весь зал. И там от дверей к ёлке началось, по всей вероятности, какое-то очень интересное шествие. Бух! Бух! — плескалось в зале, и Володька опять пригнулся к бесполезной щели: «Вдруг да это Иван Иванович с трубой?»

Но слышался голос Жанны Олеговны:

— Выступает праздничный хор мальчиков и девочек нашей школы!

И хор под управлением Жанны Олеговны грянул: «Бусы повесили, встали в хоровод!»

Отец, нянечка, возчик принялись рядом с Володькой на-топывать, принялись подпевать, потом, конечно, зазвучали и другие песенки. И все они тоже были праздничными. То про Снегурочку, то про Деда Мороза. Да Володьке и самые лучшие из них показались не слишком-то. Он ведь сидел тут в полутьме, в духоте, под этим несчастным столом снова один-разъедин. А кроме того, почти каждую песенку он знал, дома с сестрёнками певал; и раз теперь на хор глянуть сам не мог, долгожданную трубу услышать не мог, то и концерт ему стал казаться совсем не интересным.

Его сморила усталость после дороги. Под знакомый мотив про лесную ёлочку он клюнул разок-другой носом. Он даже увидел и самого себя опять в сугробном бору, да тут словно бы ветер налетел.

Володька поднял голову, а Жанна Олеговна под новые аплодисменты заканчивала говорить про какую-то грозу.

«При чём тут гроза?» — удивился Володька, но вслед за учительницей прямо-таки вскудахтала нянечка:

— Ох, Петрова! Ох, Петрова! Ох, слушайте, мужики, слушайте! Наша Петрова будет стишок читать!

«Ну-у... Опять эта её Петрова. Лучше бы Иван Иванович...» — нахохлился Володька, и всё же когда «эта» Пет-

рова неожиданно звонким, неожиданно чистым голосом повторила название стихотворения: «Весенняя гроза!», то Володька очнулся окончательно, наострил уши.

Навострил, а в зале свободно, громко раздалось:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

У Володьки мурашки побежали от таких сразу простых и таких сразу удивительно светлых слов. Он таких радостных слов никогда не слыхивал. Он даже не поверил, что читает их, произносит самая обыкновенная девочка с обыкновенной фамилией Петрова. Он шагнул на коленях вдоль обвисшей скатерти, пополз в обход возчика, отца, нянечки.

А стихи звучали всё светлей да светлей:

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солище нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Всё вторит весело громам.

И тут стряслось чудо.

С каких-то неведомых высей как бы рухнул, по всем закоулкам школы раскатился настоящий весенний гром!

Он раскатился, опять взлетел, он обернулся ликующим голосом-песней и вот теперь без слов, но как на крыльях, поплыл над ёлками, поплыл над ребятами. И, боясь, что этот голос, этот торжествующий звук так же мигом пропадёт, как мигом родился, Володька, забыв про отца, про нянечку, приподнял край скатерти, выглянул из-под стола.

Он выглянул, увидел крохотную с рыженьким, синеглазым лицом девочку, подумал: «Да неужто это Петрова и

есть?» И только подумал — а рядом... А рядом под ёлкой стоял в тёмном пиджаке и в светлой рубаше Иван Иванович!

Его-то Володька признал в момент. Над высоко запрокинутой головой Ивана Ивановича, в его лёгких руках пела, звенела, смеялась та самая серебристо-серебряная труба, и была она куда прекрасней, чем ясный месяц в ночном окошке.

Труба звала Володьку, и он — встал, пошёл.

Он прижал к себе шапку и пальто. Он шагнул напрямик, и никто его не остановил, да подвели мамкины сапоги. Он заступил висящую в руках одежду и — повалился.

Володька упал, чёрная лохматая шапка по скользкому полу подъехала под самые туфельки Петровой ежом. Та в голос ойкнула, труба смолкла, и все на Володьку уставились.

На него теперь изумлённо глядел Иван Иванович. На него глядели нянечка, возчик, Марфуша, Танюша, все ребяташки.

Отец сорвался с места, чуть не сбил Жанну Олеговну, которая тоже бросилась на подмогу Володьке. Отец стал Володьку поднимать, стал растерянно приговаривать:



— Да что хоть ты, братец мой, натворил-то? Да как хоть ты здесь очутился-то?

— Откуда? Как? Мы его раньше не видели! — опомнился, шумнул весь зал. И отец от этих своих, всеми подхваченных слов растерялся больше, Володька напугался ещё хуже, хотел кинуться в коридор, а там — на улицу, но тут его ухватил за рубашку Иван Иванович:

— Стоп!

Володька зажмурился, присел. Ребятишки в зале тоже испуганно застыли. А Иван Иванович всего лишь и сказал:

— Вот так «клю-клю-клю»...

— Что? — не поверил своим ушам Володька.

— Я говорю: «Клю-клю-клю! Вот так клюква!» Это с тобой мы летом на скамеечке насвистывали?

— Со мной! — взвился, воспрял Володька. Даже сам ухватил Ивана Ивановича за рукав: — Со мной! Со мной ты насвистывал! У нас в деревне. А теперь вот и я к тебе прибежал. На твою серебряную трубу посмотреть прибежал. И ты уж разреши мне её потрогать!

Отец только руками развёл и тоже стал глядеть на учителя: «Вы, мол, нас извините и не ругайте... И пусть, если можно, мальчик трубу потрогает...»

А Иван Иванович и без этого знал, что ему делать.

— Ну, друг ты мой сердечный, Володька, — сказал он, — если произошло такое дело, то, конечно, трубу возьми и в неё подуй.

И он трубу подал и даже показал, куда дуть.

Володька задрожал от счастья. А по залу прокатился тоже счастливый гул, потому что все теперь ребятишки и все взрослые сразу стали переживать за Володьку.

— Начинай! Не трусь! — махали ему знакомые деревенские мальчишки, махали Марфуша с Танюшей и Жанна Олеговна. А нянечка поднялась, сама словно бы протрубила:

— Раз велено дуть, то и дуй! Не бойся!

— Не бойся... — подтолкнула Володьку под локоток, шепнула конопатенькая славница Петрова.

И вот он, подражая Ивану Ивановичу, запрокинул голову, наставил трубу вверх и подул. Он дул очень старательно. Он дунул изо всей силы. Он ждал, что взовьются сейчас над ним



и откликнутся повсюду прекрасным эхом звонкие раскаты, но в трубе лишь что-то тоненько пискнуло.

Он дунул опять, но труба лишь вновь пропищала.

— Что такое? — упали руки у Володьки, и он посмотрел на учителя. — Ты дуешь — у тебя весна с громом, а у меня...

И тут впервые за весь прошедший, очень трудный день и у всех на виду Володька чуть не заплакал.

Он сунул трубу Ивану Ивановичу, он нашарил на полу шапку, принялся натягивать пальтишко. Но и вновь Иван Иванович его остановил.

— Не спорю... — сказал Иван Иванович. — Я, Володька, не спорю ничуть... У меня, возможно, и весна, и весенний гром, но у тебя, дружище, зато — жаворонок.

— Где? — опешил Володька, натягивать пальто перестал.

— Здесь! В тебе самом... — коснулся Володькиной замусоленной рубашонки, Володькиной груди Иван Иванович. — Вот здесь... Его, конечно, не всем пока ещё видно, не всем слышно... Он ещё маленький, но без него ты бы сюда по морозу не прибежал.

— Правда? — так и уставился на Ивана Ивановича Володька.

— Вы — что? Всерьёз? — переспросил озадаченно отец.

А Иван Иванович и ему ответил:

— Куда уж серьёзней!

И тут широко улыбнулся, повёл рукой на тот, с пакетами, с белой скатертью стол:

— А теперь, давайте-ка, завершим весь наш праздник совместным чаепитием. Девочки, няня, Жанна Олеговна! Несите кружки, заваривайте чаёк... Мальчики! Помогите мне подвинуть поближе к ёлке стол, расставляйте стулья.

Володька, огорошенный всем, что произошло, единственный теперь не знал, что ему делать. Он засовался:

— А мне с кем? А мне — куда?

— И ты мне помогай. Ведь мы давно — приятели.

И Володька стал помогать. А потом вместе со всеми, вместе с Иваном Ивановичем сидел под ёлкой за общим, раздвинутым во всю ширь столом. Он пил чай из такой же точно, как у Ивана Ивановича, эмалированной кружки, пил чай с конфетами, с печеньем и всё у Ивана Ивановича спрашивал:

— А ты опять когда-нибудь на трубе играть будешь?
А ты меня на какой-нибудь праздник опять позовёшь?

И учителю отвечать не надоедало. Он каждый раз кивал:

— Буду! Позову! Непременно!

Отхлёбывая из своей кружки горячий чай, отец кивал тоже. Он тоже как бы подтверждал: «Тебя, Володька, позовут, а уж я теперь и доставлю тебя к Ивану Ивановичу безо всяких промедлений».

Тарасились через стол и Марфуша с Танюшей. Марфуша даже не вытерпела, стол кругом обошла. Володьке шепнула:

— Ну, а мы, если надо, тебя и разбудим хоть в какое время. И ты за сегодняшнее, Володька, на нас сердца не держи...

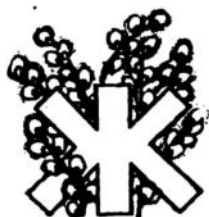
И счастливый Володька сердца ни на кого не держал.

Он лишь, когда стали вылезать из-за стола, глянул на красивые сапоги, ойкнул:

— Маме про всё как теперь станем говорить?

— Так, как есть! — совсем легко рассмеялся, встал, погладил Володьку по голове отец. — Так и доложим: отбыли вчетвером, прибыли впятером... С маленьким у тебя жаворонком! Давай, прощайся, кланяйся Ивану Ивановичу, Жанне Олеговне, тёте Дусе... А я побежал запрягать. Да попрошу у сватьи какие-никакие для тебя валенцы. Глянь, — за окошками-то к ночи так всё и вывездило, месяц так и рассиялся на новый мороз!





ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ

ил я до нынешней весны, не тужил, в школу бегал, и всё у меня там шло — о'кей.

Да вдруг это «о'кей» кончилось.

Урок выучу, а меня не вызывают. День не вызывают, два не вызывают, на третий день уроков не учу, а тут — хлоп! — к доске. И конечно, двойка. А потом снова двойка, и что дальше делать, не знаю.

Но вот мой лучший друг Эдя — он уже в седьмой класс ходил, его в нашем подъезде все мальчишки уважали — мне всё как следует и растолковал.

— А ничего, — говорит, — делать не надо. Надо лишь знать, Папа, что жизнь — всегда в полоску. То тебе везёт, то не везёт... Вот и сейчас у тебя наступила полоса невезения. Ну, а раз она наступила сама, то и отступит сама. Твоё дело — ждать, не расстраиваться. Я лично, — говорит Эдя, — не расстраивался из-за двоек никогда, а, видишь, всё равно в седьмом классе. Понял?

И я, конечно, понял.

И жил опять нормально до той поры, пока в самый что ни на есть канун весенних каникул не вызвали в школу мать.

Она из школы вернулась, шумит:

— Это всё компания твоя! Это всё на тебя влияет твой Эдя!

Я за друга заступаюсь:

— Эдя здесь ни при чём...

И сам объясняю про полосу невезения, да мать не желает слушать.

— Нервов, — говорит, — моих с тобой разговаривать больше нет... Вот приедет отец, пускай — он!

А отец тут возьми да в тот же вечер и нагрянь домой.

Он у нас — шофёр. Он от строительной конторы всю нынешнюю зиму, а теперь и весну в дальние рейсы в подшефный колхоз ездил, дома, бывало, не ночевал сутками, а тут — привет! — прибыл. И мать, ясно-понятно, с полным к нему докладом про меня.

В общем, всё в точности как Эдя говорил, всё одно к одному. Да я-то уж знаю: пройдёт и это. Отца, понятно, боюсь, но не слишком боюсь — сам первым перехожу в наступление.

Мать после доклада своего суетится, на кухне перед отцом хлеб, соль, горячие щи ставит; ну а я устроился на всякий случай поближе к двери, поближе к выходу в коридор, и оттуда этаким соловьем заливаюсь про полосу невезения.

Заливаюсь, а отец хлебает, слушает.

Внимательно так слушает, но всё молчит.

Только когда откусывает от краюхи, зеленоватые из-под

рыжих бровей глазищи поднимает на меня, лоб морщит, жуя хлеб, шевелит усами.

Шевелит и всё помалкивает.

И таким вот манером он до того молчал, что и я замолчал.

Я подаюсь теперь подальше, в самый коридор, а отец откладывает ложку, утирает усы да вдруг совершенно спокойным, но ужасно твердым голосом и объявляет:

— Завтра в шесть ноль-ноль утра собирайся в путь-дорогу.

— В какую дорогу? — опешил я.

— Куда ты его? — напугалась больше моего мать.

А он нам так и отрубил:

— В колхоз!

Отрубил, встал, шагнул из кухни в комнату. Мать тоже вскочила:

— Опомнись! Ты что? Зачем Паше в колхоз?

— За умом! — отрезал ещё круче отец, ушёл в комнату, повалился там на оттоманку да и захрапел.

После дальнего рейса он всегда так. Навернёт тарелки три, а то и четыре горячих-прегорячих щей, на оттоманку повалится, и хоть стреляй над ним из пушки.

Он нахрапывает, а мы с матерью на кухне сидим, друг на друга смотрим. И если честно говорить, мне даже страшно-ва-то. В другое-то время, если бы мне сказали по-хорошему: «В колхоз!»; я бы, может, и обрадовался, а тут, чувствую, дело неладно, и едва не реву.

— Что это, — говорю, — мама? Неужели он меня насовсем в колхоз-то? Полоса ведь у меня пройдёт...

Мать такому обороту не рада и сама. Она тоже разводит руками:

— Ох не знаю, Паша... Подождём утра, голубчик, может, утром папа поотмякнет...

Наутро отец не отмяк, но кое-что прояснилось.

Встали мы по трескучему нашему будильнику в шесть ноль-ноль: в окошках ещё темь-распротемь, холод.

Отец включил свет, со мною по-прежнему ни слова, но матери говорит:

— Выдай ему — это мне, значит: «Выдай!» — носки по-

толще да свитер потеплей. И положь в сумку еды на двоих. Раньше, чем через сутки, нам не вернуться.

Ну, а раз он так говорит, то, стало быть, вернуться мы всё-таки вернёмся, и я — ожил.

Настолько ожил, что пробую от поездки даже увильнуть.

— Чего это, — бую, — в колхоз ехать, когда я — школьник. У меня теперь школьные каникулы, а в каникулы я должен отдыхать.

Но отец — мы в это время уселись завтракать — фыркнул до того презрительно, что я чуть не поперхнулся вчерашними щами.

— Отдыха-ать... — передразнил отец. — От чего отдыхать-то? От полосы?

И я опять скис. А он вновь замолчал. И так, без единого слова, мы вышли. Молчал отец и в трамвае, пока мы ехали по пустым зябким улицам, молчком он поздоровался и с вахтёром в гараже, молчком осмотрел да завёл свой старый грузовик, который называл в добрую минуту «газончиком», а в хмурю — «газоном».

И только когда мы прикатили на строительный склад, то отец поговорил с грузчиками, да и то безо всякой охоты.

Я сижу в кабине, он зачем-то полез опять к мотору под задранный капот; грузчики кидают к нам в полураскрытый кузов длинные водопроводные трубы, на меня мимоходом поглядывают, кричат весело отцу:

— Смотри-ка, у тебя настоящий помощник-стажёр подрос!

— Подрос... — пыхтит из-под капота отец.

— И рыжиной весь в тебя!

— В меня... — пыхтит всё так же отец.

— И, поди, деловой такой же?

— Куда-а как деловой... Деловитее не бывает... — совсем глухо, даже с насмешкой отвечает отец, а я в кабине ёрзаю, голову от этих надоедлых грузчиков отворачиваю, не могу дожидаться, когда они трубы уложат, увяжут да и отпустят нас в дорогу.

Но вот наконец и дорога!

В полях под рассветным солнцем ослепительно полыхают

снега. В каждой лужице по обочинам пути будто горит электросварка. И смотреть, не жмурясь, можно только на асфальтовую ленту шоссе, которая к нам под колёса так самоходом и стелется.

Она встречу нам бежит, а мы с отцом едем, помалкиваем опять.

За кабиной тонко звенят стальные трубы: мотор, глотая прохладный воздух, фырчит бодро, а мы снова ни гу-гу.

Отец разговоров не заводит, потому что не желает, а я опасаюсь.

Я думаю: «Начни, а он мне вновь как чего-нибудь этакое ответит — и хоть сиди тогда в кабине, хоть падай... Да и зачем он в рейс-то меня всё-таки забрал? Ведь не покатасть же! Прокатиться, хоть и до какого-то там неизвестного колхоза, любой мальчишка был бы не прочь, даже Эдя, и вряд ли отец задумал мне устраивать такое увеселение... Нет, наверняка тут затеян какой-то очень и очень крепкий подвох!»

В общем, еду я, тревожусь, а отец, должно быть оттого, что и дорога хороша, и погода светла, начинает как будто бы маленько отмякать. Он даже усмехнулся, когда ловко обошёл одного совсем по-цыплячьи жёлтого «Жигулёнка», помахал встречному на чумазом тракторишке «Беларусь» трактористу, ну а я, пользуясь моментом, пробую к отцу подольститься:

— Трубы в колхоз для чего? Разве там тоже есть, как в городе, водопровод?

— Строим... — кивает отец, но мигом снова строго поджимает губы.

А я и такому началу рад. «Ага, — думаю, — по делу-то он мне отвечает! Сейчас подкину ещё какой-нибудь умный вопрос...»

Но тут стало не до вопросов. Подкинуло и мотануло весь наш грузовик.

Трубы в кузове загревели — мы свернули с асфальта на разбитый в пух и прах просёлок. Колея тут в глинистых рытвинах, в мутных лужах, и только белые поляны меж голубых вдоль дороги перелесков сверкают чистым снегом, горят подплавленным на солнце настом.

Но и на этой дороге мы тоже не одни. Впереди идут,



ныряют по ухабам в солнечных снегах два больших автомобиля, два ярко-красных «Урала». Их — могучих — нам, конечно, не нагнать. Да отец, похоже, и рад, что они — первые. Они нам по талому льду, по весенней грязи дорогу обминают, и мы по их следу катим смело. Правда, фонтаны поднимаем тоже — куда там! Но всё равно идти нам за «Уралами» полегче, и теперь отец заводит со мною разговор сам:

— Вот, глянь... Не хуже танков прут! Это — леспромхозовские... Они нам попутчики почти до самого конца.

Я подхватываю взхлёб:

— Ага, ага! Как танки, как бульдозеры, как ледоколы... Мощнеекие, будь здоров! И это, папа, хорошо. Это выходит: у нас сегодня полоса удачи!

Ляпнул я такое на радостях и вновь все испортил. Отец сразу: «Хэх-х!», и опять доброе меж нами как ветром сдуло. Запутался я с ним, с отцом-то... До того запутался, что и сам злюсь: «Ну, коли так — довольно перед папаней юлить! Пускай меня везёт куда желает, как желает — спрашивать больше не стану ничего!»

Ну, катим мы дальше за «Уралами».

Их алые кабины мелькают теперь на самом краю белого поля. За тем полем, по всему видно, крутой спуск и овраг. Из оврага тёмные макушки ёлок, голые вершины берёз торчат. «Уралы» бесстрашно ныряют под них — отец, понятно, жмёт в том же направлении.

Да вдруг видим: передовые наши пятятся.

Выползли, стали поперёк пути.

Мы к «Уралам» подлетели — наш старенький «газончик» возле них, как запыхавшийся моська рядом со здоровенными, странно краснобокими слонами, — из передней кабины высунулся тоже здоровенный водитель. Рукой нам, большим пальцем показывает через плечо, за свою кабину: «Смотрите, мол, смотрите вниз!»

А сам кричит:

— Прорва вздулась!

Что за прорва, мне не понятно. Я вылезаю на скользкую подножку, встаю за приоткрытой дверцей на цыпочки, по-за макушки ёлок глазами тянусь, да так и отшатываюсь.

Ёлки-то держатся за обрыв чудом и сбегает отвесно в самую настоящую пропасть. А там, в пропасти, река. Лёд на реке дымитя чёрными разводами. По ледовому закрайку взъерошенный — крохотный издали — ворон ходит, и сразу видно: глубина под ним тоже непомерная. Название — Прорва кто-то придумал реке точного точней!

Отец тому здоровенному водителю и его товарищу кричит:

— Да уж! Ход — на тот свет, к водяному в омут! Но и обратно поворачивать нельзя... Меня с моим грузом люди ждут. Неужели другой переправы нигде больше нету?

Водители отвечают:

— Есть... Через кордон Незабудку. Крюк — километров двадцать, да там сплошняком леса. Прорва мельче. В лесах река и дорога должны ещё стоять. Жмите, мужики, и дальше за нами!

Это они, значит, и меня как бы называют мужиком. Причём глядят в мою сторону безо всякой усмешки, не то что в городе грузчики, не то что отец.

Я сразу привстал на цыпочках на подножке ещё повыше,

да тут они заторопились, торопят и нас: «Не мешкайте! А то скоро и Незабудку не проскочить...» — и поддали газу, погна-ли тяжёлые свои «Уралы» вдоль высокого берега к дальнему лесу.

Мы тоже к лесу рулим. А они там уж скрылись, только, уходя, помаячили нам красными кабинами да оставили руб-чатый, на лесных просеках-перекрёстках чёткий след. Но и за это им — благодарность! По такому следу не собьёшься, где, в какую сторону свёртывать, заметишь вмиг.

А ещё я еду, радуюсь, что водители таких серьёзных ма-шин так вот запросто называли меня мужиком.

А что? Почти всё верно... Ростом я не коротышка, силён-ки какие-никакие имею, в рейс еду с отцом, можно сказать, чуть ли не на равных, и если бы он на меня не хмурился, то я бы даже мог подержаться и за руль.

Но с рулём — потерпим. Перво-наперво надо проскочить эту самую Незабудку. Отец хотя и не очень ко мне улыбочив, да я ему плохого не желаю. Пускай груз свой доставит во-время и куда надо, а там, глядишь, и прояснится: зачем он потащил и меня в эту поездку.

В общем, еду — всё настраиваюсь на хороший лад. А с обеих сторон мелькают теперь сосны да сосны. Их лохматые макушки над дорогой сомкнулись, как сплошная крыша. Синие, в холодных тенях сугробы здесь держатся почти ещё крепко. Но влетающий в кабину ветер и тут уже не зимний, а весь он пропитан воздушною влагой, промыт свежестью, пах-нет подталой сосновой корой и даже — как будто после гро-зы — дождиком. Так и кажется: выскочишь сейчас из-под сосен, а там впереди — чуть ли не распрекрасный месяцц май.

И вот через часок-полтора просека распахнулась, а на-встречу и впрямь — золотое с голубым!

Золотятся под ясным небом на снегу тонкие кусты ивня-ка. Играет золотом в снегах за ивняком узкая речка, которая и на Прорву-то не похожа. Через речку — мостик. А за мос-тиком дорога взлетает мимо крутых сосен чуть ли не в не-бо, а оттуда — навстречу нам — золотыми под солнцем водо-падами прыткие ручьи.

Я на всю эту красоту ахнул:

— В самом деле — Незабудка!

Отец — стоп! — машину на тормоза:

— Чёрт! Опоздали!

Он хлопнул дверцей, пошёл по следам «Уралов» к мостику.

На мостике потоптался, побил каблуком одно бревно, другое бревно, полез на тот, на весь в ручьях, берег. Там, придерживая шапку, долго снизу вверх разглядывал уходящий в крутую гору и весь измолотый колёсами «Уралов» путь. «Уралы»-то сами здесь, наверное, вскарабкались едва — вот отец и думал, прикидывал, как быть теперь.

Наконец на что-то решился, пришагал обратно, сел за руль, спрашивает:

— Штурманём высоту?

А мне — что? Моё дело — подчинённое. Тем более вижу: он и сейчас со мной беседовать не шибко рад, не до беседы ему, — и отвечаю коротко.

— Штурманём.

— Тогда держись! — буркает отец, врубает скорость.

Речная ложбина, мостик, крутой подъём двинулись нам навстречу.

Трубы у нас в кузове загремели, опять друг по дружке захлестали.

И вот этот берег под нами — долой, мостик под нами — долой, ещё миг — и «газон» со всего маха так и прёт, так и лезет в гору.

Лезет — да на промоинах его мотает, по раскислой глине уводит то влево, то вправо. Мотор стонет, чуть не захлёбывается, и я чувствую, и отец наверняка чувствует: силёнок у нашего грузовичка до самого верха, до перевала, ну никак всё равно не хватит.

И тут вдруг за самой кабиной да за кузовом как грохнет что-то. Вдруг будто какая держалка как оборвётся, как выпустит нас, так мы тут на гору-то и вылетели...

Отец — скорость долой, дверцу настёжь:

— Что такое? Почему полегчало?

И вот мы уже стоим рядом с нашим бедолагой-грузовичком на дороге, смотрим под гору, и — не знаю как у отца, а у меня пошёл под шапкой мороз.

Вся наша стальная поклажа валяется на скате горы в грязи, и как её вызволять да обратно в кузов укладывать, представить невозможно. Обстановка — хоть кричи караул.

Да и что тут кричать? Стоим мы под светлым небом лишь в компании тихих у дороги сосен, рядом с нами только опустелый «газончик» пофыркивает устало да слышно, как вокруг нагретых солнцем древесных стволов оседает снег. И сочится из-под снега в колеи, собирается в светлые струйки, катится под гору по мелким камушкам с торопливым бормотанием талая вода.

Она заплёскивает раскатившиеся по дороге трубы, ныряет в них, булькает пузырями, словно радуется нашему несчастью.

И вся просторная у нас под ногами долина будто смеётся вместе с солнцем: «Что, мол? Штурманули Незабудку? Вот то-то! Потому она и называется Незабудкой, а не отчего-либо иного...»

Мне в голову опять лезут мысли про везение-невезение, да я уж молчу.

Отец сердито сплюнул, заругался на грузчиков. На то, что они играли за работой в хаханьки, трубы покидали кое-как, увязали проволокой на живую руку. Потом забранился на «Уралы», на то, как они избуrowили весь подъём, а тут принялся костерить и самого себя:

— Нет чтобы перед броском слазить в кузов да всё проверить!

При этом он и на меня поглядел с досадой, будто я тоже был обязан проверить, и я чувствую себя виноватей всех. Чувствую, а что делать не ведаю.

Только вдруг вижу: отец сам пошёл по колее, по ручьям под гору к трубам. Выудил сразу три штуки — с них, длинных, гибких, коричневая грязь, прямо как масло, льётся, да он всё равно взвалил их концами на плечо и зашлёпал наверх, на перевал, к машине.

«Ишь ты! А меня даже не зовёт!» — возмутился я. И хочу кинуться на подмогу, да однако ещё смотрю и на свои полусапожки.

На отце — всё рабочее, а у меня полусапожки из тех, что

называют «фирменными». Я их приобрёл по совету Эди. Вернее, вырвел эту покупку у матери и вот теперь топчусь, «фирму» свою жалею, и новую курточку жалею. На ней, на курточке, тоже наклейки вроде «фирменных».

Но жалей не жалей, а отец — работает! И я на «фирму» машу, выуживаю из ручья скользкую трубу, волоку в гору. Я теперь вполне могу отцу сказать: «Гляди, мол! Хотя ноша моя не так велика, как твоя, а стараюсь я ничуть не меньше».

Отец же таскает трубы чуть ли не бегом. В переговоры со мной не вступает по-прежнему. Лишь нет-нет на ходу в мою сторону глянет, и опять — вприпрыжку через ухабы да за дело.

Он — вприпрыжку, ну и я — трусдой. И хоть уплескался я весь, как утка, хотя руки болят, а ноги заплетаются, да я понимаю: спешим мы не просто так. Время теперь не за нас. Вернее, солнце жарит, как нанятое, — лесные дороги впереди за горой рушатся тоже.

Но вот трубы все до единой улеглись на место. Мы лазаем вокруг кузова и по кузову: утягиваем борта и поклажу обрывками проволоки. От её колких концов ладони мои в глубоких ссадинах, но я терплю, не охаю. А тут и отец начинает на меня поглядывать почаще. Более того, он даже просит:

— Вот здесь, Пашка, помоги подтянуть... Вот тут, сынок, давай ещё закрутим... Ехать нам теперь придётся ещё быстрее, а то забедует на этой горе среди водополя, как дед Мазаевы зайцы.

А когда он отошёл чуть в сторону от машины, когда оглядел увязанную поклажу, то, довольный, и ко мне обернулся всем лицом.

Обернулся, тут же встопорщил испуганно брови:

— Ёжки-ложки! На тебе ведь сухой нитки нет!

— Одна, может, есть... — пробую я пошутить и, держась за крыло машины, силюсь расстегнуть левый, полный воды, полусапожок.

А самого так вот и покачивает, так вот из стороны в сторону и водит... А в глазах — то ли от солнца, то ли ещё от чего — золотые комарики. Они ходят кругами вместе с солнцем, вместе с соснами, вместе с отцом туда-сюда, туда-сюда.



— Стой! — кричит мне отец. — Стой!

«Стою, — хочу я ответить, — стою...» А он уже распахивает кабину, хватает меня под мышки, бухает на мягкое сиденье — срывает с моих ног «фирменные», а теперь похожие на осклизлые чуни, обувки.

— Что ты, как маленького! — порываюсь я вывернуться, а он всё равно полусапожки с меня сдёрнул, мокрые носки сдёрнул, ватную стёганку с себя смахнул, под босые мне пятки подсунул, прямо орёт:

— Грейся! Сейчас костёр ещё запалим!

— Какой костёр? Сам говоришь: надо ехать поскорее...

А он не слушает, скачет вдоль дороги, вдоль опушки по влажным сугробам, корёжит там сучья, пеньки, валежины. Я глазом моргнуть не успел: на проталине под сосной полыхнуло розовым столбом пламя.

И опять отец сгребает меня в охапку, тащит к сосне, сажает на опрокинутый, горячо нагретый близким огнём пенёк:

— Теперь штаны скидывай!

— Штаны-то зачем? Высохнут на мне... Вдруг кто по дороге всё же и проедет...

— Не проедет. Одни мы тут. И будем сидеть тут, пока ты у меня не прожаришься насквозь.

Я так и присвистнул. «Вот, — думаю, — допомагался! Опять, выходит, не столько пользы отцу от меня, сколько незадачи. Нет, Эдя прав совершенно: когда не везёт — лучше не ворошись».

И я сижу — не ворошусь. Сижу, укутанный в отцову стёганку, как грудное дитяtko, а всё моё барахлишко висит, исходит паром перед жарким костром.

Но отец — удивительное дело! — теперь совсем как подменённый. Он теперь будто сказочному сивке-бурке в одно ушко влез, из другого вылез. И сам переменился, и слышит все мои мысли.

— Ничего, Пашка, ничего! Зато подсобил ты мне расчудсно. Без тебя я трубы-то всё ещё таскал бы да таскал, а ты — раз! — и помог. И давай, Пашка, если у нас с тобой что было до этой поры не совсем так, то теперь пускай будет так.

— Пускай! — в один миг воскресаю я.

У меня даже из головы вон, что на мне нет ни куртки, ни штанов, я так и прыгаю:

— Давай тогда и дальше держаться заедино! Давай тогда теперь же и поехали. Ты вон сам весь измок, а сидишь, ожидаешь только меня...

И так мы вдруг у костра-то помирились, что и отец со мною — словно в самые лучшие наши денёчки, и я с ним — душа настежь.

А когда подсохла моя обувь-одежка, то отец глянул на яркие под солнцем лужи, на прямо уходящую вперёд просеку, сказал:

— Я, Паша, пожалуй, и тут сначала сделаю пешую разведку. Что-то мне там, в конце просеки, не по нраву, и как бы нам не забуриться хуже прежнего.

— Вместе тогда пойдём! — отвечаю я. — Мы же уговорились во всём заедино.

Да он посмотрел на мои слинялые, подгорелые скороходы, засмеялся:

— В кабину залазь. Доставай сумку с провизией, подкрепляйся. Я — мигом.

И он зашагал то напрямую через лужи по дороге, то в обход по талым меж сосен полянам, а я расселся в кабине на мягких подушках. Вынул из багажного ящичка сумку, крутнул головой. Оттуда, из сумки, так и пахло чесночным, колбасным духом, кисловато-приятным ароматом ржаной буханки.

Я прямо руками отломил колбасы, отломил хлеба, сижу, провизию уминаю, чуть ли не мурлычу.

Аппетит у меня богатырский, настроение солнечное.

За обсохшим, в грязевых кляксах стеклом — высокое небо. Под ним дымитя тёплый, рассечённый надвое весеннею просекой бор. А там, где просека и бор обрываются, — в той стороне уходят совсем уж куда-то за синий край земли беспредельные и тоже светло-синие ельники да березники. Они смыкаются с горизонтом, как море-океан. И вот так бы вот и глядел всё туда, а сам бы с места не торопился. Жил бы в кабине, как в домике, и нигде тебе никакой школы, никаких передрыг.

И я сижу, прекрасным видом да колбасой с хлебом наслаждаюсь, или, как бы сказал Эдя: «Кейфую!», а отец там вдали на лесной дороге всё шагает да шагает, всё перепрыгивает через чёрные кочки-проталины, через яркие лужи.

И такой он там весь под большими соснами маленький, такой весь от усталости пригорбленный, такой одинокий, что я так и замер вмиг.

Замер и будто меня чем резануло: «А ведь хорошо-то мне оттого, что со мной — он! Оттого, что он старается не только из-за этой предназначенной неизвестному мне колхозу поклажи, а бредет там по лужам, по снеговой хляби и для меня. Да что — для меня... Для мамки — тоже! Мы вон с ней, с мамкой, если разобраться, круглый год под крепкой нашей крышей живём-поживаем, никакого горя не знаем, а он, чтобы всё у нас так и было, круглый год пластается на этих дорогах... Ведь ему, поди, ни зимой, ни летом, хоть в жару, хоть в стужу не легче, чем теперь. А он нам ни разу не пожаловался, ни разу на то, как ему всё достаётся, не намекнул и единым словом... Вот мы-то жалуемся ему — это верно! Я на мамку жалуюсь, мамка на меня, а он — никогда ни на кого. Он так вот изо дня в день и штурмует километры, а я ему в помощь — портфель двоек. А я ему — всякие дурацкие рассуждения насчёт полос, причём даже не свои рассуждения — Эдины. Эх! Вот тебе и «всегда вместе», вот тебе и «заедино!»

Тут кусок в горло у меня больше не пошёл, я отпихнул сумку, из кабины выскочил, бросился отца догонять.

Да он до конца просеки дошагал, постоял там, повернулся, торопится ко мне сам. Кричит:

— Ты что? Ты куда? Садись, поехали!

А лицо у него тревожное такое, куда тревожней, чем было перед штурмом горы.

— Теперь, — говорит, — предстоит нам, Паша, ещё и форсирование водной преграды. Впереди не ручьи, не даже река, а сплошной по болоту разлив. Придётся мне с шестом шагать, а тебе садиться за баранку и на малом газу рулить за мной... Не сдрейфишь?

— Не знаю... — сразу ёжусь и честно отвечаю я. — Давай поглядим.

А у самого душа в пятки и под шапкой вновь холодок. Ведь если я за баранку и брался когда, так только лишь с отцом рядышком. И езды моей было: от нашего крыльца через двор и обратно, потом ещё раз туда и обратно — вот и всё.

Однако вида сейчас не показываю, о том, что трушу, не говорю.

— Поехали, — вздыхаю, — поехали...

И вот отец, будто заново меня обучая, потихоньку да полегоньку спускает грузовик на самом малом газу по некрутой отлогости меж сосен, а перед нами — во всю ширь вода, море! Точно такое море, какое мне недавно из кабины мерещилось...

Ну, море не море, да всё же расплеснулось и блестит под солнцем по мелколесью такое водополе, что той стороны почти не разглядеть. Торчат только из воды тоненькие берёзки, кустистые, в жёлто-зелёной дымке вербы, а меж них по голубому и по синему, как бы перевёрнутые книзу куполами, белые облака плывут.

Отец вылез, шагнул по уходящей под воду колее к самому заплеску. Подобрал мокрую, берёзовую жердинку, потыкал впереди себя.

Забрёл по колена в перевёрнутое небо, в облака, пощупал опять жёрдочкой, меня подбадривает:

— Айда, Павел! Только дверцы на всякий случай не захлопывай... Ногу на педаль, рукой — включай первую, педаль отпускай помалу... Езжай, как двором ездил. Ну что же ты?

А я не то что «отпускать-нажимать», я взялся за баранку боюсь. Я глядеть через стекло на отца, на воду боюсь. Меня так и колотит.

И в глазах опять будто золотые комарики — они даже явственно гудят. И гудят всё громче. И вот сливаются в одно ярко-алое пятно, превращаются в красного, летящего ponad самою водой жука.

Жук всё растёт — с боков, как две радуги-дуги, сверкающие крылья, — и тут я вижу, что это не крылья, а брызги, и как сумасшедший кричу:

— Катер! Катер!

Отец наверняка подумал, что я в самом деле умом тронулся, мне тоже криком отвечает:

— Какой тебе в лесу катер? Очнись!

Да тут гудение над водой и сам расслышал, голову поднял, пошибче моего завопил:

— Ежки-ложки! «Урал» к нам шурует! «Уралушка»!

А это и в самом деле «Урал-Уралушка». Да ещё и с тем здоровенным водителем! Он, водитель, на всём ходу в брызгах-радугах на наш берег правит, машину свою разворачивает, во всю здоровенную глотку и почём зря кроет нас.

Он ругается, а мы от радости чуть ли не пляшем.

— Какого, — орёт он, — лешего, не зная броду, суётесь в воду? Почему подмоги не стали ждать?

Отец весело и в то же время смущённо разводит руками:

— Я думал, вы уехали и — всё... Я думал, не до нас вам.

— Как это не до вас! — возмущается шофёр. — Как это не до вас, когда ты — водитель и мы — водители. Мы на место приехали, ждём-пождём, домой не уходим, на дорогу



глядим: тебя не видно. Раз не видно, значит, Незабудку не одолел... Ну, а если товарищ где-то на дороге в переплёт попал, что надо делать?

— То и делать, что ты уже сделал. Спасибо тебе! — смеётся отец.

А шофёр сам смеётся, да, видно, и раньше был не очень-то сердит:

— Спаси-и-бо... Эх ты! Рисковал своим мужичком.

Это он, значит, опять намекает на меня, да не только намекает, а прямо так мне и подмигивает. А у меня у самого — рот до ушей, хоть завязочки пришей!

— Папка мной не рискует ничуть, — улыбаюсь я. — Мы с папкой давным-давно заедино.

— Ну-у, — говорит водитель, — тогда понятно, отчего вы такие герои. Вам, двоим, нипочём всё! Цепляйтесь на буксир, храбрецы.

И наш «газончик» зашлёпал на стальном поводке за «Уралом», и глядеть мне из кабины на глубоко опрокинутые среди берёз под нами облака было теперь не страшно в самом деле.

Ну а потом было вот что.

Потом мы уже сами, своим ходом приехали на стройку в колхоз. Приехали в ночь-располночь, и ничего я там как следует не разглядел. Видел только какие-то огоньки, тёмные крыши да слышал, как звенят, бухаются торопливо на землю при разгрузке наши трубы и как кто-то в темноте настойчивым голосом всё повторяет отцу: «Обратно через Незабудку в одиночку ехать и не думай! Одного не отпустим... Сопроводим с трактором!»

И нас проводили с трактором. Но и тут я всех в пути подробностей не помню. Я всё время, мотаясь с боку на бок в кабине, то клевал носом, то засыпал напрочь.

Да дело ведь совсем и не в тех, пропущенных ночью подробностях. Про них, если надо, я мог бы спросить отца, а спросил я его совсем о другом.

Когда я очнулся, когда увидел, что уже рассвело, что впереди нет ни лохматых сосен, ни гремящего трактора, а бегут нам весело навстречу окраинные городские домишки,

трамвайные столбы да заводские ограды, то я удивился и сказал:

— Папка, а папка! А зачем ты меня всё-таки в рейс-то брал в этот?

А он как бы тоже очнулся.

Он, не упуская руля, провёл всюю правую ладонью по совсем теперь осунутому лицу, резко мотнул головой, как бы усталость отгоняя, и сам повторил: «Зачем — в рейс?», и пожал плечами.

Пожал, кашлянул да и говорит:

— Чего теперь, Паша, о том толковать? Теперь, я думаю, ты и сам всё понял... — И тут этак хитровато покосился: — Ну, разве что какая полоса опять тебя в чём-то и подведёт...

Тогда я сам хитренько взглянул на отца:

— А вот и не подведёт! Полоса — это когда сидишь, ничего не делаешь. А если — делать, то откуда ей, полосе-то, взяться?

— Вот и я думаю: откуда? Вроде бы неоткуда! — совсем уже лёгким утренным голосом подтвердил отец.

Подтвердил, даже на гудок нажал, и наш свободный теперь от груза «газончик» резво бибикнул, помчался навстречу первым городским улицам, навстречу первым, самым ранним, самым звонким трамваям ещё быстрее.





ГРУСТНАЯ ЭЛИЗАБЕТ

Пётр Петрович Иванов был хорошим детским врачом. Сначала он работал в небольшой амбулатории, в пригородном селе, а потом его пригласили в областную больницу, в сам город.

С Петром Петровичем на новое место переехали, конечно, и его сын Вася и Васина мама.

В городе Вася опять стал ходить в школу, а Пётр Петро-

вич и тут лечил ребятишек, и лечил по-прежнему замечательно.

Маленьких пациентов на приеме у Петра Петровича было всегда полно. Он их выстукивал и выслушивал с утра до вечера, а когда приходил в поздних сумерках домой, то, случалось, и дома, не успевал он снять шляпу, не успевал протереть нахолодавшие на морозе очки, как тут же в прихожей начинал названивать телефон.

И Пётр Петрович, опережая Васю и Васину маму, хватался за трубку, отвечал в неё: «Алло... Я слышу! Я сейчас!» — и снова нахлобучивал шляпу.

Но вот как-то по весне уж, в одно из воскресений, когда Пётр Петрович был всё же дома и вся семья Ивановых была дома, в квартире у них затренькал не телефон, а дверной электрический звонок. Пётр Петрович отворил, и в прихожую прямо-таки влетел кругленький прыткий гражданин в лохматом полупальто и в барашковом картузике.

Весь красный от великой поспешности, он сначала привалился к дверному косяку, отпыхнулся, а потом сдёрнул картузик, быстро, но вежливо отвесил поклон маме, отвесил поклон Васе и, запрокинув круглое лицо, уставился на высокого и сухопарого Петра Петровича:

— Доктор, я к вам! Вы самый авторитетный медик в городе!

Пётр Петрович от смущения тоже весь покраснел, тоже быстро ответил:

— Не самый, не самый... Я рядовой детский врач.

Но гостя было уже не остановить. То и дело взмахивая короткими ручками, он сбивчиво и заполошно затараторил:

— Вот и славно, вот и расчудесно! А я — Чашкин... А я заведу здешним зоопарком. Но речь идёт сейчас, доктор, не о наших с вами должностях-званиях, речь идёт о жизни или смерти одного прекрасного существа. Крошка Элизабет вчера вечером и сегодня утром окончательно и бесповоротно отказалась от всякой еды!

Пётр Петрович, конечно, сразу насторожился весь и даже, как всегда в экстренных случаях, сразу потянулся к вешалке за своим пальто и за шляпой.

— Говорите толковей, быстрее!

Говорить ещё быстрее Чашкин не мог, но толковее объяснился:

— Элизабет — наша единственная во всём зоопарке лошадка-пони, и с нею творится что-то неладное. Овса, сена не ест, воды не пьёт, сегодня утром отказалась даже от пареных отрубей, хотя очень их всегда любила.

— Что не ест? — замер от удивления Пётр Петрович. — Кто не ест? Какая такая пони? Какие такие сено, овёс, и при чём тут я, детский врач?

У него и брови поднялись торчком, и лицо вытянулось, а потом он вдруг рассмеялся, закинул пальто обратно на крючок, на вешалку:

— А я-то сначала подумал, Элизабет — это ребёнок... Ну и приходит же кое-кому в голову такая вот несурязица: давать лошадям человеческие имена, да ещё — заграничные.

— А она и есть заграничная! Чистейшая шотландская! Она и есть как ребёнок! — взмолился Чашкин. — Все животные, когда болеют, становятся ну прямо совершеннейшими детьми! Хоть слон, хоть бегемот, хоть такая крохотуля-невеличка, как наша Элизабет... Рассказать о своей болезни она не может ничего, а глядит на вас, моргает глазами так, что вам и самим хоть впору зарыдать!

И Чашкин, действительно едва-едва не плача, принялся объяснять уже не криком, а быстрым, тревожным полусшёпотом, что вот именно из-за этой-то схожести его четвероногих питомцев с ребятишками ему и пришла в голову этакая невероятная, этакая, можно сказать, сумасшедшая мысль: позвать к Элизабет детского врача! А прямой специалист по лошажьим болезням — ветеринарный фельдшер — у неё уже был... Был, ничего не нашёл, сказал, что у лошадки просто такой временный каприз и что скоро всё это пройдёт. Но он, Чашкин, фельдшеру не верит! Слишком Элизабет грустна для капризов, и если тут ещё и Пётр Петрович откажет, то неизвестно что и случится, то неизвестно что и делать.

— А ничего пока и не надо делать, — совсем теперь спокойно, даже безо всякой усмешки ответил Пётр Петрович. — Советую день-другой обождать. Послушаться вашего, как вы сказали, прямого специалиста. А сейчас, милости прошу, к нам на горячие пирожки, на кофеёк!

Но расстроенный Чашкин лишь расстроено посмотрел на Петра Петровича, сказал: «Эх-х...» и пошёл не туда, откуда у Ивановых так аппетитно потягивало горячим кофейком, а медленно и понуро шагнул к входной двери.

И тут неведомо что и стряслось бы дальше, если бы не Вася и не его мама.

Вася чуть ли не крикнул:

— Эх, папка! А сам говорил: «Кто бы где бы ни просил о подмоге, отворачиваться не честно!»

Мама тоже подхватила:

— Не честно! Пускай это не твоя обязанность, пускай это не ребёнок, а лошадка, но раз мы про эту лошадку узнали, то и отказать ей в помощи нельзя никак.

— Конечно, нельзя... — сразу остановился у порога и вздохнул Чашкин.

А Вася добавил:

— Я теперь про эту лошадку буду думать каждый день.

— Я тоже, — сказала мама.

И тогда Пётр Петрович нахмурился, широко на всю прихожую развёл руками:

— Я-асно... Вы, получается, добряки, вы, получается, хорошие люди, а я — нет...

И он, как бы всё больше и больше сердясь, глянул на маму, глянул на Васю, немножко поприветливее посмотрел на Чашкина и опять потянулся к вешалке. Он стал во второй раз снимать с крючка шляпу и пальто.

Вася мигом ринулся за своей тёплой курточкой, закричал:

— Можно, и я с вами?

Пётр Петрович кивнул молча, зато воспрывший Чашкин радостно выпалил:

— Можно! И даже обязательно!

2

И вот перед ними распахнутая навстречу весеннему ветру городская улица. На ней шум, весёлая людская толкотня. Дома, домишки, деревянные заборы золотисто-жёлты от

солнца. На асфальтовых, ещё не полностью очищенных ото льда тротуарах — журчание ручьёв. На голых, но по-мартовски тёплых тополях — воробьиный ор. За тополями — сверканье рельсов, радостный трезвон трамваев.

Пётр Петрович с Васей сразу и пошагали было к трамвайной остановке, да Чашкин забежал вперёд:

— Не туда!

Он повёл их то узкими, почти пустынными переулками, то проходными полутёмными дворами, где всё ещё синел мокрый снег и где по водосточным жестяным трубам неистово грохотали падающие с крыш сосульки.

Под этот грохот Чашкин отважно нырял из одной сумрачной арки в другую, услужливо показывая:

— Налево, доктор, теперь направо... Простите, что веду такими ходами-переходами, тут намного быстрее.

А Пётр Петрович и сам теперь торопился, и Васю подгонял:

— Не отставай, нажимай, Васёк!

Но и Васю подгонять было тоже не надо. Вася торопился не только на выручку к неведомой лошадке — побывать в зоопарке ему хотелось давно.

Хотелось, да вот до нынешнего дня всё как-то не выходило, потому что и у Васи на это были тоже свои уважительные причины.

Сперва, когда Ивановы переехали в город, Вася просто не знал, что тут есть такое интересное местечко. А когда узнал, то наступило первое сентября и начались занятия в школе. А потом Васю приняли в хоккейную команду, и ему стало совсем уж не до чего, в том числе и не до зоопарка.

Кроме того, с этим-то вот хоккеем у Васи вышла такая история, что о ней сто́ит рассказать чуть подробнее...

Команда была, конечно, детской, школьной, и тренировал её учитель-физкультурник. Он быстро увидел, какой Вася после деревенской жизни крепенький да ловкий, и очень скоро назначил его вратарём. Но назначил не одного, а в пересменку с другим мальчиком, с Николушкой Копейкиным. На одну игру, скажем, в сегодняшний вечер, тренер выпускал на лёд Васю, на другую игру, скажем, в следующий вечер, выпускал всегда Николушку.



И всё было бы тут хорошо, если бы однажды вдруг Вася не взял, не удержал страшнейший удар — булит. Николушка ни разу таких ударов не брал, а он — взял!

Он и сейчас помнит, как ахнули все, когда шайба оказалась у него в руке, в ловушке, — и вот с этой-то минуты Вася Иванов крепко-прекрепко зауважал сам себя. Сначала зауважал молчком, тишком, а потом учудил номер и при всех.

Когда к ним на ледовую встречу приехала знаменитая команда тридцать третьей городской школы, когда Васины боевые соратники и сам он выходили, грохоча коньками, из раздевалки, когда Николушка Копейкин провожал всех добрыми пожеланиями и немножко завистливым взглядом, потому что был в этот вечер запасным, — то Вася поравнялся с Николушкой и прищёлкнул перед его носом пальцами:

— Вот так-то! Нечего завидовать! Всё верно. Сегодня и безо всякого черёда должен был бы играть я. Сегодня сражаются хоккеисты — первейший сорт!

Николушка мигом вскинулся, но тут же и грянул бас тренера:

— Отставить! Это кто это первый сорт? Это ты, Иванов, первый сорт? Отставить и твой выход. Садись в запас, на лёд идёт вратарь Копейкин.

А ещё он сказал, что за такое зазнайство и хвастовство его, Иванова, надо бы отправить даже не на запасную скамейку, а домой, но поскольку грех с Васей вышел впервые, то пускай Вася пока посидит вот тут в раздевалке у окошечка да и подумает: какой он сорт-фрукт на самом деле — наилучший или так себе, с пятнышком...

И ошарашенный, расстроенный, Вася остался в раздевалке один. Перешагивая через вороха ребячьих обуви, не снимая коньков, он проковылял к длинной под окошком скамье и, почти ничего не видя от слёз, уткнулся в холодное стекло.

О том, какой он теперь «сорт-фрукт», Вася понял сразу. На душе у Васи сделалось так, как будто он только что шёл на какой-то удивительно весёлый праздник, шёл вместе с друзьями, и вдруг все ушагали вперёд, а перед ним с треском захлопнулась дверь.

Она захлопнулась, и остался для него, для Васи, лишь вот этот квадратный проёмчик с надбитым стеклом: смотреть смот-

ри, а проходить дальше и не пробуй! Там, на празднике, и без тебя, Васёк, хорошо. Там, на празднике, и без тебя, Васёк, обойдутся...

Но и в окошко почти ничего нельзя было разглядеть. Выходило оно чуть в сторону от хоккейной площадки на белые кусты, на утоптанную дорожку, на белеющий в сумерках школьный сад, и Вася не столько видел, сколько лишь слышал, что там, на площадке, начиналось теперь.

А там, как всегда, орали, визжали, галдели, хлопали в ладоши ребятишки. Там заливался судейский свисток, хлестали по сосновым бортам крепкие удары шайбы, звенели на виражах коньки. Оттуда, как всегда, бил на все четыре стороны, достигая и Васиного окошка, радостный электрический свет, и только одно там было не как всегда.

Всё это ликующее, всё это светло-шумное празднество проходило теперь без Васи Иванова. И от этого Васе было ещё нестерпимей, ещё тошней.

Он так уж и думал, что на веки вечные одиноким и останется, но тренер был хотя и суров, да справедлив, наказал Васю на одну лишь тогдашнюю игру, простил тогда Васю и Николушка. Тем более, что в матче-то с тридцать третьей школой Николушка сыграл превосходно.

А вот Вася с той поры и хвастаться зарёкся, и тренироваться стал ещё старательней, и вот из-за этого старания ни разу, как приехал жить в город, в зоологическом парке и не побывал.

3

Но теперь в зоопарк Васю вела, можно сказать, сама судьба.

Судьбой этой был толстенный, прыткий, пыхтящий на ходу, как паровоз, Чашкин. Перебежав ещё один неведомый ни Васе, ни Петру Петровичу сугробный проулок, пронырнув ещё один сумрачный двор, он вдруг выскочил сам, а за ним и его попутчики, на весеннюю улицу. Обегая прохожих, повернули за угол, и вот — ворота зоопарка, фанерная рядом будочка.

Из будочки выглянула рыжая контролёрша в сиреновой фетровой шляпке:

— Прощу-у билетки...

— Это со мной! — бросил ей на бегу Чашкин, опять махнул Петру Петровичу и Васе, чтобы не задерживались, и запел теперь в толпе меж длинных вольер, построенных тут в солнечном затишке под огромными липами.

На самых макушках лип, под самой синью неба в тонком прутье возились, горланили, делили меж собой прошлогодние гнёзда вольные грачи. А у вольер гомонила тоже, но чуть поспокойнее, гуляющая публика. Больше всех тут было девочек и мальчиков. И больше всего их толпилось у бассейна, возле байкальской нерпы Нюрки.

Не могли ни в какое сравнение с нерпой Нюркой идти ни белки, которые, задрав пушистые хвосты, лихо накручивали деревянные мёленки-колёса, ни поразительно жирный, с полосатой и плутоватой мордой барсук, ни два развесёлых, кувыркающихся через голову, тибетских медвежонка.

Вася даже про лошадку на миг забыл и сам прилип к парапету бассейна, уставился на Нюрку.

А она там, стремительная, вёрткая, чёрно-блестящая, то уходила в прозрачной воде к самому дну, то, плавно и красиво изогнувшись, абсолютно бесшумно, без единого всплеска выставляла к зрителям из воды странно синеглазую, усатую голову.

И тогда кто-нибудь из ребят с бетонной, не очень высокой стенки кричал:

— Нюра, пас!

И швырял заранее приготовленный тут оранжевый, целлулоидный мячик.

Нюрка почти на лету ловила его крепким носом, и — плюх! банг! — упругий мячик взвивался и вот уже снова лежал у самых ребячьих ног.

— Пас! — кричали снова ребяташки и снова швыряли Нюрке мячики.

Банг! Банг! — опять взлетали они, падали на парапет, ребяташки хохотали, довольная Нюрка повёртывалась кверху гладеньким брюхом, сама себе, как в ладоши, хлопала мокрыми лапами.



— Вот так провора! — захлопал было и Вася, да вдруг почувствовал, что остался в толпе один, что прыткий Чашкин и быстроходный Пётр Петрович ушагали далеко вперёд, и припустил за ними следом.

Настиг он их возле нешироких, с прочною сетчатою оградой загонов.

В одном загоне Вася тут же увидел горбоносого, надменного верблюда, который что-то медленно жевал и который в свою очередь глянул на Васю с высоты своего верблюжьего роста так по-барски, с таким пренебрежением, что Вася не выдержал, сказал ему ехидненько:

— Хо-хо!

Сказал скороговоркой и в общем-то, конечно, не вслух, а про себя, так чтобы верблюд не расслышал.

Тем более, что рядом с верблюдом обитало ужасное страшилище. Сквозь железную ограду таращился на Васю лесной бычище — зубр. Он заслонил крепколобой башкой своей чуть ли не весь крепко-накрепко зарешеченный просвет меж бетонными столбами в загородке, и казалось, стоит ему слегка приналечь, и вся ограда так с треском на Васю и рухнет.

Но это только казалось. Бык, видимо, отлично знал, давно проверил, что бетонные столбы куда прочней его лба, и



стоял, не шевелился. Он лишь разок совершенно мирно, совершенно по-коровьи фукнул широченными, влажными ноздрями и ловко их прочистил одну за другой шершавым толстым языком.

А вот рядом с ним в уютном, симпатичном загончике не было никого.

Там только в самой глубине, у приоткрытой двери жёлтого хлевушкѣ, на согретой солнцем земле копошились, выискивали что-то в соломенной трухе и нежно гуркали залётные голуби-сизари.

На прутьях ограды висела табличка с надписью:

ПОНИ

А чуть пониже, помельче:

Шотландская

Пётр Петрович быстро взглянул на эту надпись:

— Гляди-ка... И верно, иностранка. Но где же она сама, ваша грустная Элизабет?

— В том-то и дело... — пропыхтел, отдуваясь, Чашкин и утёр взмокший лоб подкладкой картузика. — В том-то и дело: не ест, не пьёт, даже на прогулку в загончик свой не выходит... Пожалуйте, доктор, сюда.

И вот они все трое оказались на другой, на закрытой для посетителей стороне зоопарка, и Васе почудилось на какое-то мгновение, что они снова в деревне.

По всему тесному задворью меж чёрных бревенчатых служб тут плыл, мешался с талым запахом сугробов тонкий, напоминающий о деревенском лете, о лугах запах сена. Голуби и воробьи, поднимая шумный ветер крыльями, кидались тут прямо под ноги. Они хватали, поспешно подбирали кем-то рассыпанный у сарая овёс, а кто-то где-то, кажется за оконцами хлевов, по-гусиному гоготал, по-телячьи взмыкивал и даже, как Васе показалось, кукарекнул.

Чашкин звякнул щеколдой, открыл низенькую набухшую дверь. Из тёмного проёма пахнуло тёплой конюшней, свежими сосновыми опилками.

— Вот и сама Элизабет, — сказал Чашкин.

Но после светлого двора, после солнца здесь, в полутьме, Пётр Петрович и Вася лишь слепо заморгали.

Тогда Чашкин распахнул дверь полностью. А потом прошёл вперёд и толкнул вторую дверь, что выходила в загон с табличкой на ограде. И в сумеречное помещение сразу ворвался мартовский сквознячок, сноп света упал на истоптанные опилки, золотисто отразился на щелястых стенах, на потолке, и вот в самой тени в углу, за широкой, полной душистого сена кормушкой, Пётр Петрович и Вася увидели чудесную крохотную лошадку.

Масти она была тёмной, вороной. Аккуратно подстриженная гривка её топорщилась ёжиком. А из-под чёлки смотрели на Васю, помаргивали нечастыми длинными ресницами удивительно ласковые, с влажной искоркой глаза.

Очень ласковые глаза, очень добрые, но и очень печальные.

Вася сразу понял, что они печальные, и шагнул к лошадке, стал быстро обшаривать свои карманы. Пётр Петрович стал тоже охлопывать карманы да ещё и заприговаривал, переименовав имя лошадки на свой собственный лад:

— Сейчас, Лизок, сейчас... Потерпи, маленькая.

Но Лизок-Элизабет и ждать не стала, что они отыщут, а вздохнула, повернулась и уставилась опять в свой угол, в какую-то там узенькую светлую дырочку.

Вася не нашёл в своих карманах ничего, тоже вздохнул.

И Пётр Петрович ничего не нашёл. И тогда раскрыл саквояж, вынул докторскую деревянную трубку.

— Ну-с... Приступим к прослушиванию. Только, пожалуйста, Чашкин, сделайте так, чтобы она не взбрыкнула.

— Да что вы, доктор! Да Элизабет ручная, как котёнок! — опять засуетился Чашкин и похлопал лошадку по круглым бокам, по спине, взворошил пушистую гривку, чтобы показать, какая Элизабет не брыкливая.

Действительно, ко всей длинной и утомительной процедуре прослушивания лошадка отнеслась очень покорно. И лишь когда Пётр Петрович легко прикоснулся к её мягким ноздрям своею прохладною ладонью, чтобы проверить, нет ли у лошадки жара, то она фыркнула и мотнула головой. Но это лишь оттого, что от ладоней Петра Петровича и от его одежды, наверное, пахло лекарством.

А потом он опять принялся её выстукивать, опять принялся выслушивать. И лицо его было так же серьёзно, как если бы он склонился не над лошадкой-пони в зоопарке, а над маленьким пациентом у себя в детской больнице. И только вот Чашкин нет-нет да и мешал ему сосредоточиться.

— Ну что? Ну как? Ну ясно что-нибудь? — нетерпеливо совался он под руку, а Пётр Петрович всё отмахивался от него, всё бормотал: «Подождите... Дайте разобраться...»

И вот наконец выпрямился, решительно сказал:

— Ничего не нахожу! Ветеринарный фельдшер прав был абсолютно. Ах, Чашкин, Чашкин, я же вам говорил!

И он подхватил с пола, с опилок пузатенький саквояж, спрятал в него трубку, защёлкнул замок.

Пони шевельнула хвостом, опять уткнулась в полутёмный угол, в сияющую там светлой звёздочкой дырку.

У Чашкина глаза сделались такими же горестными, как у самой Элизабет, и даже ещё горестней.

Упавший опять духом Чашкин лишь молча раскрыл и закрыл рот, будто хотел вымолвить: «Как же так? Отчего же она тогда такая?», да, глядя на непреклонного доктора, вымолвить этих теперь уже бесполезных слов не решился.

Промолчал и Вася.

Он лишь всё смотрел и смотрел на лошадку, на то, как она понуро склонила голову к своей мерцающей в углу дырочке, как всё тянется к ней. И вдруг вспомнил себя самого, вот такого же грустного на катке в раздевалке у окошка, вспомнил все там свои горькие переживания и бросился к Чашкину:

— Стойте! А что у вас за щёлкой, в которую Элизабет всё глядит и глядит? Может, у неё друзья там? Может, для неё там что-то такое интересное, а вы её туда не пускаете, — вот она и загрузила у вас!

Тут и Пётр Петрович спросил быстро Чашкина:

— В самом деле, что там?

— Ровным счётом ничего, — недоумённо пожал плечами Чашкин. — Всё тот же пустой двор, по которому вы только что прошли, во дворе, напротив дырки, сарай, в сарае — мешки с овсом да рессорный тарантасик.

— Какой, какой тарантасик? — не то недопонял, не то недослышал Пётр Петрович, и Чашкин пустился очень пространно объяснять:

— Ну, такой вот обыкновенный... Неужто не знаете? С колёсами на специальных пружинах, чтобы не трясло, с мягкими сиденьями для ездовых, с двумя оглобелями, чтобы запрягать туда...



И тут Чашкин смолк, и тут Чашкин вытаращил глаза.

Вытаращил, помигал, хлопнул себя ладошкой по лбу и радостно закричал:

— Ах, как это я сам не догадался и всех с толку сбил! Она ведь, конечно, по тарантасику и грустит! Ждёт не дождётся, когда ей опять скажут: «А ну, поехали!»

Элизабет при этих словах наострила уши, вдруг повернулась, негромко ржанула и, простучав по деревянному полу, по тонким опилкам ладно подкованными копытами, сама подбежала к Чашкину.

— Ура! — сказал, весь так и просияв, Чашкин. — Диагноз точный. Васёк — молодец! Не спроси он про дырочку, мы бы и теперь ещё ни в чём не разобрались... Ну, доктор, и сын у вас! Ну и дотошный сынище — сразу видно, это именно около своего папы он набрался такого ума-разума! Наверняка готовится тоже стать врачом.

— Вполне возможно, вполне возможно... — смущённо и в то же время радостно улыбнулся Пётр Петрович.

Смущённо, потому что ему было всё ж таки неудобно, что не он первым догадался спросить у Чашкина, куда это заглядывает Элизабет, а радостно, потому что ему было всё ж таки приятно, что его сынишку Васю вот так вот нахваляют. Ведь сам-то он про историю с раздевалкой, с окошком ничего не знал, а значит, и предполагать не мог, откуда на самом деле вдруг Вася набрался такой тонкой проницательности, такого ума-разума.

А повеселевший Чашкин надевал на лошадку узду и всё говорил, всё говорил.

Он рассказывал о том, что вот уже года три подряд, как только солнце станет совсем высоким и тёплым, как только в зоопарке просохнут дорожки, Элизабет катает по этим дорожкам ребятишек-гостей и лишь в зимнюю пору получает как бы трудовой отпуск. Отдыхает до новой весны в хлевушке или разгуливает, когда захочет, в той ограде, на которой висит дощечка с надписью: «Пони шотландская».

Но только вот что странно: раньше Элизабет к тому, когда придёт отпуску конец, относилась совершенно спокойно. Когда придёт, тогда и придёт, когда запрягут, тогда и запрягут... А нынче — вот на тебе! — ударились в этукую пе-

чаль! Ну, разве сам тут с толку не собьёшься? Вот и он, Чашкин, сбился. И конечно, побежал к ветеринару, а потом и к Петру Петровичу...

— Вы уж, доктор, на нас не обижайтесь!

— Да что вы, дорогой Чашкин. Визит был не напрасен ни капли. Я даже рад, что теперь с вашей лошадкой познакомился. Она в самом деле чем-то похожа на человека. И неожиданности в её поведении нет никакой. Всё это означает, что раньше она у вас была действительно как беспечный ребенок, а теперь вот взяла да и повзрослела и гулять ей просто так уже не интересно. Я вот сам в своих отпусках сначала радуюсь, а потом жду не дождусь конца... Это очень славная лошадка, Чашкин, я поздравляю вас!

— А мне вот тоже безо всякого дела гулять никогда, даже в каникулы, не интересно, — засмеялся Вася. — Так, выходит, я тоже взрослый?

— Если вон там, за дверью, во дворе, на высокий чурбанчик встанешь, то получится — почти взрослый... — ответил Пётр Петрович, и теперь засмеялись все.

Лошадка и та глянула на Васю так живо, так светло, будто ответ Петра Петровича поняла полностью и очень, очень с ним согласна.

5

А потом началось самое приятное.

Как только Чашкин вывел вороную складненькую Элизабет под уздцы во двор, так мигом туда сбежались чуть ли не все служители зоопарка.

Они ведь из-за пони наводновались тоже. Они теперь тоже поздравляли Чашкина.

Да Чашкин скромно повёл рукой в сторону Васи, в сторону Петра Петровича: «Вот, мол, кого надо поздравлять-то, вот кого благодарить!» — и приказал побыстрее отпереть сарай с тарантасиком.

Ах, каким расчудесным был этот тарантасик!

Когда его выкатили из холодной темноты сарая под светлое солнышко, когда смели с него мусор и пыль, он так

и заиграл весь легко изогнутыми рессорами, своими точёными колёсами, крашеными лаковыми крыльями и облучком!

А когда Элизабет встала в оглобелки и над её гривкой поднялась тёмно-синяя с алыми розанами и с медным колокольчиком дуга, и когда Чашкин, взяв вожжи в ладонь, широким, приглашающим жестом показал Васе и Петру Петровичу на кожаное сиденье, то Вася даже захлебнулся от радости, а потом вдруг испуганно спросил:

— Разве пони троих увезёт?

— Больше увезёт. Да ещё как! С музыкой, с ветерком... Жаль, наш кучер Ваня Чемоданов тоже гуляет в отпуску — он бы прокатил вас ещё и с посвистом!

И вот под Петром Петровичем и Васей приятно скрипнуло сиденье. Кругленький расторопный Чашкин легко вспрыгнул на облучок, поправил картузик, махнул помощникам: «Расступись!», и Элизабет сама, не дожидаясь ни свиста, ни окрика, стронула рессорный тарантасик и пошла, пошла, пошла по мощёному двору меж обтаявших сугробов сначала ходким шагом, а потом и напористой рысцой.

На асфальтовую, в мелких лужах дорожку выкатили с таким звоном, с таким цокотом копыт, что теперь даже и байкальская нерпа Нюрка никого не могла возле себя удержать.

Все мальчики, все девочки так и замерли, услышав эту летящую, гремющую, весеннюю музыку подков, колёс и колокольчика.

А когда увидели, как бодро несёт Элизабет над собою дугу, словно маленькую радугу, когда сияющий Чашкин вдруг обернулся к Васе, поманил к себе на облучок и отдал вожжи: «На, да не бойся! Лошадка сама не сойдёт с круга!» — то и все мальчики, все девочки закричали:

— Нас прокатите! И нас!

Чашкин спрыгнул, подхватил двоих, ловко усадил в тарантасик прямо на всём его на ровном, на быстром ходу.

— Следующие занимайте очередь, — весело сказал он.

Пётр Петрович тоже выпрыгнул, тоже усадил вместо себя двух тоненько ахнувших девчушек.

И вот так вот, под ребячий писк, под стукоток подков,

Элизабет покатила ходкий тарантасик всё дальше и дальше по широкому кругу.

Она катила, а из-под небесной сини со старых лип её приветствовали всюду грачи:

— Здра-а! Здра-а!

Ей что-то хорошее провизжали тибетские медвежата, просвистели белки, а нерпа Нюрка, нимало не завидуя чужой доброй славе, взвилась над бассейном свечой и звонко хлопала широкими ладошками-ластами.

А Вася, весь так и падая стремительно вперёд, ещё крепче подбирал вожжи и, глядя, как ходит перед ним, шевелится на встречном ветру лошажья гривка, радостным полушёпотом всё наговаривал и себе, и Элизабет, и сидящим рядом ребяташкам:

— Ах, какой молодец Чашкин, что сбился с толку! Ах, какой он умница, что позвал меня и папу сюда!

И в лад его словам звонкие подковки Элизабет тоже радостно и складно выстукивали:

— Именно так! Именно так! Именно так!





КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК

а тёмными от ночной росы палатками зафукали тормозами тяжёлые автомашины.

Из передней выпрыгнул прораб Веня Капитонов.

Он, большой, в сером тумане, запрокинул голову, хлёстко свистнул. Сонный люд в палатках очнулся, загомонил. Через минуту-две высокие борта машин упали, началась торопливая разгрузка.

А потом, когда в степи рассвело, когда плеснуло розовым солнцем, все здешние рабочие и приезжие шофёры сидели, завтракали под сквозным, на крепких столбах навесом.

Рабочие с гостями дружно хлебали стынущий на ветру суп. Лишь Веня, распахнув свой неуклюжий брезентовый плащ, то и дело поправляя на круглом лице очки, всё ещё ходил и ходил возле жёлтых смоляных штабелей, всё заглядывал в истрёпанную записную книжечку.

И вот довольный, что ничего в долгом пути не сломано, не потеряно — каждая доска тут, — книжечку захлопнул.

Стряпуха Юлия Петушкова схватила чистую миску, кинулась к струящей голубой дым плите. Сынишка Юли, семилетний Николка, выудил из посудного ящика запасные ложку, вилку, быстро положил на стол, на всегдашнее Венино место. Но Веня Николку и Юлю остановил:

— Намажьте бутерброд, и — точка! Я опять в путь, я опять с машинами на станцию...

И, видя, что он желает сказать что-то ещё, причём очень важное, все, кто сидели за столом, хлебать перестали.

Да Веня не сказал ни слова. Веня вынул из плаща, из кармана довольно солидный гвоздь.

И вдруг подшагнул к торчащему рядом со столешницей высокому столбу навеса, и вдруг вдавил одним лишь большим пальцем этот гвоздь чуть не по самую шляпку в столб, в сухую, крепкую древесину.

Приезжие шоферы ахнули. Ойкнул во весь голос Николка. Только рабочие-строители удивились не слишком. Им про Венину могучесть было уже известно. Они её видели на сегодняшней ночной разгрузке, когда Веня всем помогал, и теперь все ждали: что будет дальше?

А дальше Веня вытянул из кармана брякнувшую связку: новенький взрезной замок и длинный к нему, с фигурной бороздкой ключ.

Связку накинул на гвоздь:

— Вот ключик-замочек от четвёртой квартиры... Что будем делать с ней?

И все очнулись, все зашумели:

— С какой — «четвёртой»? У нас первой ни у кого нет! Веня объяснил:

— Я сегодня привёз всё, что нужно для сборки двух домиков. Они одинаковые. В каждом — по паре квартир. А дважды два, ясно даже Николке, — четыре. В трёх — по вашей же общей просьбе — мы срочно должны открыть медицинский пункт, свою пекарню и хоть какую-то, но непременно баньку... С прорабской конторой я и в палатке погожу. Всё равно больше на ногах да в разъездах... И вот по этой арифметике выходит: четвертую квартиру можно отдать уже и под жильё. Но — кому? Знаю, вы тут без меня думать, гадать начнёте, так давайте решим сразу.

И Веня связку на гвозде, словно колокольчик, покачул, всех оглядел. И тут улыбнулся молодой бригадир Иван Петушков, отец маленького Николки:

— Я не заспору, если отдашь ключик-замочек мне...

Иван шутливо привскочил, протянул шутя руку. Его товарищи подхватили весело:

— А что, прораб? Отдай, и — точка! Петушков — трудяга. Он, кроме того, сюда с семьёй приехал. Вот видишь, у нас всё решено...

— Зато у нас ничего не решено! — вдруг раздалось оттуда, где сидел со своими помощниками другой строительный бригадир — Дюкин.

Рассерженный Дюкин при этом даже не ворохнулся. Вскакивать, суетиться Дюкину не подходило ни по его возрасту, ни по его характеру. Он лишь опустил под стол, под ноги, баранью косточку, которую сцапал там его питомец — пёсик Люсик, а сам Дюкин опять исподлобья оглядел весёлых петушковцев:

— Решить должна только работа и лишь работа... Чья бригада соберёт один домик раньше, вот той бригаде и ключ.

Дюкин хотел добавить что-то ещё, вероятно, уже в личный адрес Петушкова, тот тоже изготовился на быстрый ответ, да Веня поднял широченную ладонь:

— Стоп! Верно. Ключик-замочек преподнесу лучшему из лучших, когда возвращусь. А пока приз пускай висит для поднятия, так сказать, вашего духа.

— Дух у нас всегда высокий! — засмеялся было Петушков по-прежнему, да Дюкин обрезал:

— Не говори «гоп»...

И помощники Дюкина так согласно, так дружно набычились, что сразу стало понятно: как ни храбрись Петушков, а за одно лишь здорово живёшь ключика-замочка ему не получить.

— Ой, Иван... Что будет теперь? — испуганно прижала Юля к губам смятый фартук.

Иван живо выбрался из-за стола, Юле помахал:

— Будет всё тики-так. Готовься к новоселью. Мои ребяташки не подведут.

И он выскочил из-под навеса, его «ребятишки» повывскакивали следом, и все они помчались туда, где под солнышком за палатками должна была начаться степная новостройка.

Дюкин с бригадой пошагал в том же направлении. И шагала эта бригада — будто шла на стенку. На такую стенку, которую надо прошибать кулаками. А кулаки дюкинцев — у каждого куда с добром! Даже Веня Капитонов мог бы позавидовать... А уж пёсик-то Люсик явно гордился своим хозяином сверх всякой меры. Он семенил рядом с Дюкиным, держа свой хвостик тоже куда как гордо, тоже неприступно.

Николка кинулся было вслед, да Юля Николку остановила:

— Тебя лишь там не хватает... Смотри, сомнут в горячке. Дюкин вон какой пошёл... Трактор! Бульдозер! Необоримая гора! — И повернулась к Вене: — Зачем ты бригадиров-то этак раскипятил? Ивана моего не знаешь? Дюкина не знаешь? Теперь сшибутся — не унять. Разве это соревнование? Это гонка какая-то! Ну, сказал бы, мол, объявлю благодарность, а ты ведь повесил — КЛЮЧ!

Веня нахмурился не хуже Дюкина:

— Гонка, говоришь? — И чуть ли не прикрикнул на Юлю: — А ты как бы хотела? Приехала по боевой комсомольской путёвке, а трудиться тут предлагаешь от звоночка до звоночка, тихо, мирно, по аккуратному расписанию? Вот столько часиков на труд честный, а вот столько часиков и на травяной кочке под гитару позагорать? Не-ет! С таким настроением, Юля, новый совхоз до зимы не построить. А не построим, то какие же мы тогда первопроходцы-пионеры?



И ты меня гонкой не упрекай! Это не гонка. Это нас время не ждёт. Не успеем до буранов, до метелей — разъедутся отсюда все, даже самые упорные. Ты тоже не захочешь морозить своего Николку в палатке... Или захочешь?

— Ох! — ухватилась Юля испуганно за свой фартук.

— Тогда не осуждай... Нет у нас иного выхода, как только строить день и ночь. Сюда ещё ведь люди придут... Ну, а кто для будущих людей старается сейчас, кто — первый, кто не жалеет себя и своих рук, тот, я считаю, имеет право знать наперёд, какая ждёт награда и его... А теперь, где мой бутерброд? Слышишь, машины сигналият, торопят.

И Юля снова ойкнула, выхватила из кухонного ларя пачку масла, непечатую буханку хлеба. Длинным ножом распахала буханку вдоль:

— Которую половину, Веня, тебе намазать?

Веня глянул, ответил:

— Обе мажь!

И Юля всё масло размазала по обеим половинам, а Веня их схлопнул и с таким вот двойным бутербродищем в руках заторопился на призывное бибиканье машин.

Побежал, обернулся:

— Насчёт «сшибки» бригадиров ты, Юля, всё же не трусь... Знай себе кухарь. Ну и заодно за ключиком-замочком приглядывай.

— Почему — приглядывать? Ты думаешь, они Ивану, они нам достанутся? Ты в Ивана больше веришь, да? — так и запахнула во всю ширь серые глаза Юля, но Веня лишь хмыкнул, пожал плечами:

— Вот на это ответить не имею права. Сама верь!

И побежал дальше, отломил, отправил на ходу в рот такой кусок бутербродища, что тут и Николка вытаращил глаза. И пока Веня не уселся в кабину, пока не уехал, всё глядел Вене вдогон.

Потом покачал головой, спросил у матери:

— А что, мама? На прорабов учатся?

— Конечно, учатся...

— Долго?

Юля засмеялась:

— На таких, как Веня, наверное, долго.

А в степи за палатками вовсю теперь звенели и звенели плотничьи топоры. И Юля Николку, когда он туда засматривался, больше не одёргивала. Ей самой теперь было любопытно, что же такое там происходит.

И хотя после завтрака надо было вновь приниматься за кухонные дела — мыть посуду, чистить картошку, открывать консервные банки, всё приготавливать для обеда, — Юля с Николкой успели слетать, поглядеть на плотников не один раз.

Бегали они от раскочегаренной плиты, от булькающих на огне кастрюль по очереди. И рассказывали друг дружке всё по очереди.

Николка возвращался со стройки, переводил дух, сиял:

— Стараются! Вовсе и не сшибаются, а — стараются. Дядька Дюкин с помощниками подымает вот такую, чуть не до неба, деревягу, и папка подымает... Дядька Дюкин коман-

дует своим: «Раз-два — взяли!», и папка командует: «Раз-два — взяли!» А ещё они кричат: «Тащи, Николка, воды! Жарко!»

Юля хватает ведро:

— Воды отнесу сама!

И, оплёскивая босые ноги, оплёскивая подол платья, мчится с полным ведром на стройку сама. Потом тоже говорит Николке:

— Да-а уж! Я такого нигде ещё, ни на какой работе и не видывала... Я и не думала, что наш папка такой на деле хваткий.

— А Дюкин? — спрашивает Николка.

— Что — Дюкин?

— Дюкин хваткий тоже?

— И не говори... Ты видел сам. Иначе бы он наших и на спор вызывать не стал.

Тогда Николка обводит взглядом степь, палатки, глядит — не слушает ли кто? — заговорщицки подмигивает матери:

— Давай папкиной-то бригаде хоть как-нибудь да помогать. Давай, когда туда бегаем, хоть доски от штабелей незаметно подносить, что ли...

Но Юля сразу машет на Николку:

— Нечестно! Папка нам за эту подмогу такую баню устроит, не обрадуешься. Я думаю, он справится сам.

— И ключик-замочек будет наш?

— Лучше не гадать. Сглазим!..

И они опять кашеварят. Юля заправляет кипящие кастрюли картошкой, лавровым листом, перцем. Николка домывает в тазу и раскладывает вверх донцами на скамье металлические миски.

Тень от кухонной крыши всё короче. Она теперь только под самым навесом. Сквозь редкие щели в крыше пробиваются почти отвесные лучи, пятнают дощатый стол, касаются столба с гвоздём, и там золотятся ключик с замочком. А за палатками всё не смолкает перезвон топоров. А вокруг зелёный простор, голубое до горизонта небо, жаркое солнце, и настроение у Николки с Юлей отличное. Юля даже говорит Николке совсем теперь уверенно, совсем как взрослому:

— Завёз нас папка сюда, похоже, не зря... Похоже, кончилось наше мотание по всяким общежитиям и будет у нас наконец отдельная, своя квартирка. Да ещё на таком приволье! Как въедем, так сразу посажу под окошками сирень, яблони. На ту весну они распустятся, красоту дадут. А папка весь посёлок отстроит и перейдёт в механизаторы. Он всё умеет. Он станет пашню пахать, хлеб сеять. Я в совхозную столовку определяюсь: ну а ты здесь начнёшь ходить в школу... И будет у тебя, Николка, в этом краю настоящее родное место!

— А сейчас оно мне какое? Не родное, что ли? — улыбается Николка и начинает умело, привычно расставлять обсохшие миски по длинному столу.

А тут как раз стихает заметно и стук топоров на стройке. Юля хлопочет ещё быстрее, говорит:

— Которая-то бригада собирается на обед.

— Дядька Дюкин... — смотрит, подтверждает Николка. — Вон они вышагивают все, и даже Люсик... На стройке стучат теперь только наши, только папка.

— Папка у нас — тако-ой! Папка у нас — рабо-отник! Обедом и то оторвёшь не вдруг... — гордится Юля, отстраняя от бьющего пара, от кастрюли подальше лицо, пробует горячее кушанье в последний раз.

А бригада Дюкина хотя подошла к кузне всего лишь на обед, но подошла опять куда как деловито. Дюкинцы и за ложки взялись, будто за самый что ни на есть важнейший инструмент. И хлебать начали — ну прямо как снова работать. Никаких тебе лишних слов, никаких тебе шуток. Только звяк да бряк, да иногда басовитое покашливание.

Лишь сам Дюкин за весь обед сказал два слова.

Первый раз он сказал «тубо!» Люсику, когда тот, не в пример хозяину, разыгрался. Не успев вылакать то, что ему Дюкин отплеснул из своей миски в специальную посудинку, Люсик понюхал под столом какую-то щепку и давай её грызть, трепать, шумно с нею возиться — вот и получил «тубо!» от Дюкина.

А ещё раз Дюкин высказался лишь в самом конце быстрого обеда. «Спасибо!» — буркнул он неизвестно кому: то ли Юле, то ли Николке, то ли висящим над столом ключику

с замочком, и тут встал, и потопал во главе своей молчаливой команды опять на строительство.

— Ну и бирюк! — безо всякого теперь настроения сказала Юля вдогон Дюкину. — Сам бирюк, и себе в бригаду принимал таких же...

И вдруг Юля закричала:

— Иван, а Иван! Ну что же ты с дружками прохлаждаешься, когда Дюкин опять на работу пошёл.

Закричала она так, потому что Иван Петушков с товарищами теперь и в самом деле прохлаждался. Они все поливались за кухней у водозаборной колонки, и — хоть бы им что! Они там хохотали, дёргали рукоять насоса, подставляли под холодную струю головы, ладони, а сам Петушков, скинув на траву тёмную от пота рубаху и блестя голыми плечами, махал Николке:

— Иди к нам! Побрызгайся, не трусь.

А потом когда мокрые, шумные уселись обедать, то и за столом спешили не очень.

Юля летала с поварёшкой, с кастрюлей вдоль стола метеором, а они — хлебали, расслаживали, будто им не только сегодня, а и завтра на работу не нужно. Наконец Юля не стерпела, даже назвала Ивана, как не своего, по фамилии:

— Петушков! Дом достраивать собираешься?

Иван глянул, усмехнулся, словно поддразнил:

— По закону Архимеда после сытного обеда полагается нам, плотникам, ещё поспать...

— Что-о? — замерла возмущённо Юля.

— По какому закону? Почему спать? День же! — вовсе опешил Николка.

— Не нагоняй, бригадир, на родню страха... — засмеялись Ивановы помощники. И давай объяснять Юле, что работать в такую жарынь совсем не выгодно, только измаешься. А вот когда они поспят, да наберутся силы, да когда жарница посвалит, тогда они вновь начнут гнать работу вперёд — только, Дюкин, держись!

— Мы и ночи на стройке прихватим. Дюкину, не бойся, не уступим, — сказали плотники, отправляясь «набираться силы», но всё равно такое объяснение Юлю и Николку не успокоило ничуть.

Теперь было так: со стройки доносился стукоток топоров дюкинской бригады, а невдали от навеса взвизывался над палатками молодецкий храп спящих петушковцев.

Храп был настолько могуч, что казалось — от него именно и дрожит весь жаркий степной воздух. И дрожал он час, дрожал два, а потом пошёл и третий час. И как Юле ни хотелось, но подойти к палатке и скомандовать подъём, она не могла. Иван Петушков об этом не просил. А то, о чём он не просил, то и делать в бригаде было не положено.

Юля с Николкой лишь старались возиться пошумней у плиты. Они брякали чугунными конфорками, стучали кочерёжкой, даже раз несколько, как бы нечаянно, смахивали с высокого стола на низенькую кухонную скамеечку порожний, звонкий таз.

А тут ещё вдруг явился со своим Люсиком Дюкин.

Красный, распаренный от жары Дюкин, шумно дыша, уставился на Юлю:

— Что задумали? Где Иван? Отчего не работает?

— Гав, гав! Р-ры, р-ры... — поддержал пёсик хозяина.

Юля на песика — ноль внимания, но от Дюкина на всякий случай отшагнула подальше:

— Вон — палатка, вон — в палатке Петушков. Поди да сам всё у него и разузнай.

Но Дюкин не пошёл. Дюкин лишь послушал богатырское храпение, скосоротился ехидно:

— Ага... С тылу меня обойти решили! Ночь себе захватить... Ну поглядим! — И выговорил Юле: — А ты, значит, болеешь только за своё? Нам воды на стройку не подносишь? Нарочно?

— Ой! — вмиг стала Юля куда красней лицом, чем Дюкин. И, повторяя: «Да это я просто забыла! Да это я просто забыла!», схватила сразу два ведра, помчалась к насосу. Вцепилась в железную рукоять, изо всей мочи застучала, закачала.

Но когда оба ведра тяжело подняла и шагнула с ними, то Дюкин ведра отнял, понёс, как пушинки, сам.

А Юле пропыхтел:

— Ладно уж! Через силу не рвись.

Он ушёл, а Юля после этого так шуранула опять со сто-

ла звонкий таз, что храп в палатках оборвался — из ближней вылез Иван Петушков.

Вылеза, поглядел на вечернее солнце, на мгlistые вдали сопки, потянулся, сказал:

— Вот теперь — тики-так! Налаживай, Юля, чаёк: я подниму ребятишек, а там и на дом, на работу.

— Ребяти-ишки... На до-ом... — передразнила Юля. — Проспал ты со своими ребятишками дом-то! Дюкин небось уж крышу кроет.

— Точно? — не поверил Иван.

— Точно не точно, а всё ж он после обеда не дрыхнул как некоторые.

Иван засмеялся, приоткинул полог соседней палатки, закричал туда, будто в глубокий туннель:

— Вылазь, «некоторые»! Нас тут прорабатывают. Надо исправляться.

И вот, напившись чайку да ещё пошутив над расстроенной Юлией, бригада Петушкова наконец-то собралась.

Выпросился у матери и Николка. Да она ему сказала и сама:

— Конечно, глянь, что теперь там творится. Вернёшься, доложишь.

Иван, всё в том же хорошем настроении, привлёк Николку к себе:

— На батю не докладывают... Пойдём-ка лучше не в контролёры, а в ученики.

— Поработать дашь? И там Дюкин не закричит, что нечестно? — обрадовался Николка.

— Не закричит... Мы ему ответим: «Учеников учить не запрещается!»

А кто-то из молодых бригадников даже уточнил:

— Мы тебя, Николка, перво-наперво научим самому главному плотницкому слову. Вот лежит, к примеру, бревно. Оно тяжёлое. Его впятером не поднять. А гаркнешь хором: «Ух!» — и бревно почти само подскочит куда надо. А ну-ка, для тренировки ухни...

И, понимая, что это с ним просто балагурят, Николка шёл и хотя ухать не ухал, да от души смеялся. И смеялись, продолжали шутить все.

Но когда пришли на место, смешливость с бригады Петушкова сдуло как ветром.

Пока Петушков «набирался силы» в палатке, Дюкин резко вырвался вперёд. Домик, который он собирал, был, правда, пока ещё без крыши. Но уже и щитовые, гладко струганные стены стояли на месте, и оконные, отливающие янтарной желтизной рамы стояли на месте; и светился весь этот домик на степном вечернем просторе — ну прямо как большая свеженькая шкатулка.

Сам Дюкин — усталый, при косых, закатных лучах багровый — ходил по самой верхотуре, тяжело басил помощникам вниз:

— Доски стропильные подавай... Доски!

— Ого! Он и в самом деле до крыши добирается... Мы в самом деле со спаньём-то перехватили чуть лишка... — сказал Петушков. — И подал команду: — Засучай, братва, рукава! Задача — догнать и перегнать!

И тут все враз про Николку позабыли. Позабыла вся бригада, позабыл даже батя — Иван Петушков.

Отдохнувшие плотники бросились к своему домику, и вот там тоже пошла, закипела, забурилась неистовая работа.

Грохнулся со штабеля на гулкую землю широченный, грузный стеной щит. Подхваченный сильными руками и плечами, он встал на торец, затем покачнувшись, подвинулся — и занял в стене своё место.

Грохнулся второй щит, тоже встал на ребро, на торец, и тоже занял в стене своё место.

Блеснули перевёрнутые обухом наперёд в руках плотников топоры, ударили по шляпкам гвоздей, и щиты в стене связались накрепко.

А потом стена стала расти всё шире. И вот уже в проёме её появилась первая оконная рама, а там и целую дверь пронесли рабочие на плечах мимо Николки, и он ничуть, что его на помощь не приглашают, не обижался. Он видел: ему, маленькому, тут никакого сподручного дела пока что нет.

Но зато Николка мог здесь теперь, сколько сам пожелает, сидеть, смотреть, не бояться, что скажут: «Под ногами не путайся!» И он сидел под зыбким, серебристо-перистым,



ещё не смятым людьми и машинами ковыльным кустиком, глядел на слаженную работу плотников, слушал добрую перекличку топоров, вдыхал горьковатый влажный запах посвежевших к ночи степных трав.

И наверное, эта предночная зябкость и привела к нему неожиданного соседа. И был это не кто иной, как Люсик. Он ткнулся холодным носом Николке в руки, безо всякого приглашения сел рядом.

— Ну и ну! — удивился весело Николка. — То рычал, задавался, а теперь греться ко мне прилез... Вот так-то, Люсик! Раньше времени на кого попало хвост не поднимай! А может, ты всё-таки хвалиться пришёл? Тем, что твой Дюкин впереди моего папки? Так это ненадолго. Ваши уже устали, складывают инструменты, а у наших впереди ещё целая ночь. Работать в такую ночь — папка говорит — самый раз! Ветерок и — звёзды по кулаку. Ты посмотри, какие звёзды-то, посмотри...

Николка обнял щенка за голову, стал принуждать его взглянуть на звёзды, которые начали зажигаться на той, на



чёрно-синей стороне, куда не достигал уже своею меркнувшей алостью закат. Но щенок лишь пятился, вырывался, и Николка наставительно заключил:

— Вот видишь! Ты всё ж таки хитрец. Сидишь под кустиком со мной, а думаешь про Дюкина. Не нравятся тебе ясные звёзды!

И Люсик, то ли сконфуженный таким своим двойным поведением, то ли заслышав, что бригада Дюкина в самом деле пошла на ночлег, вывернулся и, подпрыгивая в тёмной траве, поскакал догонять своих.

Там, вдали, хорошо теперь видный, мерцал полевой кухонный огонёк. На этот огонёк утомлённо, медленно уходил с помощниками Дюкин. И Николка всё тем же наставительным, насмешливым, но не слишком, конечно, громким голосом сказал:

— Что, Дюкин-тюкин? Спорить с моим папкой нелегко?

Сказал, шалости своей испугался, опять было нырнул под куст, а в это время в отцовской бригаде про него и вспомнили.

Помогая рабочим стягивать с белеющего в ночи штабеля новый здоровенный щит, отец спросил:

— Где это Николка у нас?

— Нико-олка! Иди, ухать помогай! — засмеялся тот молодой плотник, что по дороге сюда балагурил всех больше. И вдруг он, упираясь руками в тяжёлый щит, распевно, озорно затянул: — О-ой, прошёл, друзья, о нас напрасный слух...

— У-ух! — толкая груз, грянули вслед за певцом товарищи.

— Будто спади нынче мы часов до двух...

— У-ух! — опять поддержали запевалу рабочие.

— А по правде пробудились мы поздней... Оттого идёт и дело веселей! — допел озорной плотник, и рабочие заголосили уже на иной лад: «Идёт, идёт, идёт... У-ух! Пришло! Встало!» — И новый огромный щит очутился тоже на месте, и теперь на домике образовалась не одна стена, не две стены, а появилась и третья.

Николка подпрыгнул, закричал:

— Дом почти готов! Вот это «ух», так «ух»!

— О чём тебе и говорили,— хлопнул Николку по плечу тот плотник-запевала. — Давай, ухай и ты!

И Николка «ухал» с бригадой до того времени, пока в звёздное небо не поднялась ещё и луна.

Светила она так сильно, что все предметы на стройке стали ещё белее, тени чернее, а быстро растущий домик стал казаться таким высоким, что у Николки, когда он запрокидывал голову, вдруг начинало всё плыть в глазах. Ему даже разок померещилось, что домик качнулся и полетел вместе с ним, с Николкой, в этот ночной сияющий над головою океан.

Николка ойкнул, а отец услышал, сказал:

— Всё! Уморился, парень... Беги к матери, отдыхай.

И Николка пошёл без споров, потому что устал в самом деле. А когда добрёл до места, то на все Юлины вопросы только и ответил, что папка вот-вот догонит Дюкина. А потом взял со стола кусок хлеба, сунулся в палатку и прямо так с куском в кулаке и уснул.

Наутро — спать бы ещё да спать — Юля принялась тормошить Николку.

Он подумал, что это снова надо идти на давным-давно надоевшую кухню, досадливо замычал, но Юля спросила странно осторожным голосом:

— Скажи честно... Ты не брал ключик-замочек?

— Что? — так и вынырнул из-под одеяла Николка. — А на гвозде? На столбе? Разве нет?

— В том-то и дело, что нет... Отец велел спросить: может, ты взял как-нибудь нечаянно? Дюкин думает вроде бы на тебя...

— Да он в уме? — совсем взвился Николка, и сна будто не бывало.

Николка выскочил в одних трусах на прохладную улицу, помчался по седой росе к навесу.

А там гудела, теснилась толпа. И конечно, там были оба бригадира. Они, опираясь по очереди руками на щелястую столешницу, разглядывали чуть ли не в упор тот столб с одиноко торчащим гвоздём, а потом глядели друг на друга.

Причём Петушков смотрел на Дюкина всего лишь удив-

лѣнно, а Дюкин на Петушкова — удивлѣнно, да ещё и сердито.

Николка, не боясь, что в толпе ему отдавят босые ноги, полез вперёд. А тут подроспела и Юля. Она помогла Николке сквозь толпу пропихнуться, поставила перед бригадами:

— Пожалуйста... Николка здесь. Только он ключика-замочка не брал и не видел.

Петушков тут же повторил Дюкину:

— Вот видишь! Не брал и не видел.

Дюкин от Николки отвернулся:

— Кто же тогда? Моя бригада спала при мне в палатке всю ночь...

— А моя — плотничала...

— Дедектив какой-то! — совсем нахмурился Дюкин.

— Детектив... — чуть поправил Дюкина Петушков. — Не хватает нам теперь только собаки-ищейки.

— А что? — вдруг Дюкин ожил. — Давайте попробуем Люсика! Он мне не так давно мой собственный портсигар отыскал.

И Петушков согласился: «Пробуй...», и Юля согласилась: «Пробуй...», и все, в том числе Николка, заоглядывались, высматривая, где Люсик.

Люсик сидел, как всегда, под столом, под хозяйским местом, ждал завтрака. Дюкин вытащил его за пушистый загривок, поставил на столешницу. Потом приподнял за передние лапы, заставил нюхать на столбе гвоздь.

— Ищи! — сказал по всем правилам Дюкин, и когда Люсика из рук освободил, тот сделал по столешнице меж пустых мисок небольшой круг, спрыгнул на скамейку, со скамейки на землю. И вот с таким деловым видом затрусил из-под навеса, что Иван Петушков воскликнул:

— Смотри-ка, ведёт! Чего-то знает, чего-то чувствует!

— А как же... — ответил солидно Дюкин. — Дармоеда, пустолайку я бы не стал держать и одного дня.

Все тоже тут повалили за Люсиком, а он закрутился у плиты, возле кучки дров.

— Ха! — сказала сразу Юля. — Это место моё. У меня искать нечего.

— Нечего — не нечего, а со следа собаку не сбивай, — сказал Дюкин, и Юля так вдруг к нему повернулась, что не миновать бы шума.

Да Люсик побежал дальше.

А дальше была широкая палатка дюкинской бригады. И тут Дюкин сам сказал: «Ха!», и Юля не замедлила ввернуть:

— Не сбивай собаку.

Люсик нырнул под входной полог, Дюкин недоумённо полог приподнял, согнувшись, полез в палатку.

За Дюкиным полезли опять все. Но Люсик там куда-то шмыг — и пропал. Там теснились только заправленные по-солдатски одинаковыми одеялами койки, и Люсика под ними да в палаточном розовом сумраке было не разглядеть.

И вдруг из-под той койки, через спинку которой перевешивалась дюкинская клетчатая рубаша, раздалось всем знакомое:

— Р-ры... Р-ры...

А вслед за этим:



Дрень-дрень... Звяк-звяк...

Николка, пользуясь своим малым ростом, быстро присел, быстро вниз глянул, радостно объявил:

— Ключик с замочком! Он там с ним играет. Он его там за шпагатицу треплет и грызёт.

— Да ну?! — выдохнул басом Дюкин, схватился за спинку койки, отмахнул в сторону всю койку с постелью целиком.

А Люсик, привалясь там к хозяйскому чемодану, полёживал на измятой, поблёклой траве, держал связку-пропажу в зубах и глядел на всех очень доброжелательно. «Привет, мол! Вы ко мне в гости? Ну что ж, у меня есть чудесная игрушка... Если надо, поиграйте! Замочек, а особенно ключик вполне можно погрызть, как суповую косточку...»

Дюкин так головой и заводил, словно его из ведра окатили, а Юлия засмеялась.

— Глупая! — шлёпнула она сама себя по лбу. — Люська-то ещё с вечера на это дело целился. Как ветерок чуть под навесом потянет, так ключик по замочку сбрыкает, а Люське — интерес! Я посуду убираю, а Люська всё слушает, сидит. И вот, видно, мы все — по палаткам, а он — на стол. Мы — на покой, а он — «игрушку» в зубы да и к тебе, Дюкин, под кровать... Ну да ладно! Не ругай теперь пёсика. Что с него спросишь?

— Чего уж... Чего уж... — ещё круче повёл головой Дюкин. А когда глянул на Николку, то и сам тут вроде как улыбнулся. Только не от веселья улыбнулся, а, на удивление всей компании, с ничуть не похожей на него, на Дюкина, сконфуженностью.

Более того, сунул злополучную связку Николке в руки да ещё и провёл ладонью по Николкиным вихрам:

— Ключик-замочек повесь на место. А за напраслину, птаха-Николаха, прошу прощения.

От такой небывало внезапной дюкинской ласки у Николки расширились глаза, а Дюкин обернулся ещё и к Ивану:

— Неладно вышло... Пересол! Виноват.

И, не сказав больше ничего никому, даже своим помощникам, он опять упрямо набычился, отмахнул брезент палатки, пошагал на стройку.

Петушков только руками развёл:

— Ну, даёт!

— «Не даёт», а показал своё собственное переживание... Хотя показывать не любит! — ни с того ни с сего обиделся, решил заступиться за Дюкина один из его помощников. — У него тоже ведь есть личные тревоги-заботы... Причём не меньшие, чем у нас, Петушков, с тобой. Только он про них не всем говорит.

— Ясно! И тут у него всё, как в детективе. Он — товарищ куда там, секретный, и мы ему не чета, — попробовал снова всех настроить на шутку вчерашний запевала, да заступник Дюкина рассердился сильней.

— Чета — не чета, но и вы ему не сватья, не братья. Живём вместе без году неделю: так отчего он тут станет перед вами рассыпаться? Личное есть личное. А Дюкин о личном, не в пример кое-кому, на каждом перекрёстке не кричит.

И заступник этот смирил задиристым взглядом Петушкова, смирил запевалу, махнул своим «Айда!», и они все пошли догонять Дюкина.

В общем, как началась эта история с пропажей ключика-замочка нескладно, так и кончилась совсем нескладно.

Правда, Иван призадумался: «Что же это такое у Дюкина за личное переживание?»

А Юля Ивану сказала:

— А ведь, несмотря ни на что, Дюкин не такой уж и бирик. Вон нашего Николку погладил и птахой назвал.

Но всё равно главное сейчас решалось на строительной площадке. Ведь и теперь, на вторые сутки работы, будущего победителя определить было ещё невозможно. За время ночной вылазки Петушков, конечно, Дюкина догнал, чуть перегнал, даже начал ставить над сборными стенами стропила, но и петушковцам требовалось сделать короткую, да всё же передышку, и тут Дюкин опять наверстал своё.

Бригады снова шли вровень. И, боясь дорогое время потерять, сегодня никто не пожелал ни в полдневный зной отсыпаться в палатках, ни идти обедать на кухню. Все прямо тут, в тени недостроенных домиков, так и легли на траве.

Полегли бригады не вместе, а врозь. Юля с Николкой

притащили обед тоже в разных, хотя и в одинаковых по величине кастрюлях. Но плотники там и тут за ложки лишь подержались.

— Вот только воздуху чуть хватим в холодке, а перегружаться едой нам нельзя, — сказали не то всерьёз, не то в шутку плотники. — Идём на последний рывок! Причём — на верхолазный. И тут необходима лёгкость.

И вот на этой верхолазной работе, на которой действительно нужны были лёгкость и ловкость, вдруг стало заметно, что бригада Петушкова уходит вперёд. Идёт помалу, медленно, но всё равно соперников опережает, и тут не изменить уже ничего.

Не изменить не потому, что дюкинцы вдруг ослабли — они не ослабли ничуть! — а оттого, что Иван Петушков пустился на новый манёвр.

В предночное, опять звёздное время, когда оставалось на том и на другом домике расстелить да приколотить по кровлям листы шифера, Иван Петушков скомандовал:

— Всем наверх!

— Как так всем? — заспорили товарищи. — Вон у Дюкина двое подают листы снизу по лесенке, а у нас кто будет подавать? По воздуху к нам матерьял на крышу-то полетит, что ли?

— Полетит! — сказал Петушков.

И поднял длинную крепкую доску, опёр её концами в землю, другой конец опустил на край будущей кровли.

Потом он эту наклонную доску опробовал, покачал.

Потом снял со штабеля пару тяжёлых шиферных листов, закинул за спину, глянул вверх, и тут — ни мигнуть, ни ахнуть никто не успел, только наклонная доска под ним трескуче прогудела, — взбежал на самую крышу, на вышину.

Груз там оставил, перепрыгивая через две ступеньки, опустился на землю уже не по доске, а по стремянке-лесенке, махнул своим:

— Полезай, приколачивай! На меня нечего глядеть. Я всё же не только совхозные домики страивал, а и мосты через реки, и линии ЛЭП. Летал с грузом не то что по доске — по тонкой проволоке.

И вот так вот и получилось, что хотя «взлётывал» с ши-

ферными листьями на крышу Петушков один, да работал-то он за двоих. А может, и за троих! И вот поэтому бригада Петушкова начала не так чтобы очень быстро, да зато очень верно уходить вперёд.

Юля с Николкой сидели теперь под тем прохладным ковыльным кустом. Возвращаться к палаткам, пока всё не закончится, они даже и не думали. Они отвлеклись только тогда, когда вокруг кастрюль с нетронутым обедом начал, повизгивая, топтаться Люсик. И они отчерпнули ему на траву добрую порцию каши и опять стали слушать да смотреть, как грохочут молотками плотники, как растут да растут на том и на этом домике серые волнистые откосы кровель.

Они всё смотрели, как летает Иван со своею, теперь уж казалось, бесконечной ношей вверх-вниз, вверх-вниз, и Юля всё пугалась:

— Ой, как бы не упал... Ой, как бы не сорвался...

А Николка хотя каждый раз, когда отец пробежал по гибкой доске, и сам за отца боялся, и сам жмурил от страха глаза, но матери говорил:

— Не упадёт! Наш папка не упадёт...

Короткая, летняя ночь не успела потемнеть да и тут же начала наливаться медленным светом. И вот этот свет, как огромный, в полнеба костёр полыхнул алым, и молотки в бригаде Петушкова, ударив ещё сильнее, разом смолкли.

Тишина стояла секунду, потом рухнула.

— Ура-а! — посыпались вниз с крутой кровли товарищи Ивана, а он бросил на траву очередную ношу, опустился с ней рядом.

— Всё, Иван? Всё? — подбежала к нему Юля, подбежал Николка, но Иван лишь сидел, утирал кулаком лоб, щёки да ошарашенно глазами моргал.

А когда и на домике Дюкина смолкли молотки, то, всё ещё как бы себе не веря и даже боясь на соперников оглянуться, Иван спросил:

— Там закончили тоже?

— Нет! — шумнули радостно друзья Ивана. — Это они смотрят на нас, а работы им ещё хватит.

— Поздравляю с победой, бригадир... С законной! — вдруг раздалось, как с неба, со стороны соседнего домика.

И когда, всё ещё не набрав сил с травы подняться, Иван медленно обернул лицо, вскинул глаза, то увидел, что это кричит ему со своей незаконченной крыши Дюкин.

Кричит, конечно, без особого ликования. Какое уж там ликование! Но нет на небритой физиономии Дюкина и той, вполне бы сейчас уместной досады.

И опять, как вчера, удивляя Петушкова, он вроде бы даже улыбается. Он повторяет:

— Спор закончен. Всё, всё теперь, Петушков, по закону. Шагай, забирай ключик-замочек.

И тогда Иван встаёт, Иван кричит сам:

— Ты что? Поздравляешь-то всерьёз?

— Серьёзное не бывает. Я ведь тоже — рабочий человек. Понятие кое о чём имею.

И Дюкин поднял руку, как бы этим разговор прекращая, и опять застучал, забухал по кровле молотком. Застучали и его помощники. И теперь уж было видно, что, конечно, Дюкину далеко-далеко не весело. Да тут Ивана подхватила под руку Юля:

— Ну и нечего смотреть! Раз ты победитель, то пошли забирать приз.

Николка тоже сказал:

— Побежали, если так... Вон, кажется, машины опять со станции пришли. Библикают...

Друзья Петушкова загалдели всей бригадой:

— Точно! Мы своё дело сделали, и Веня тут как тут. Сейчас он тебе, Иван, вручит награду со всею торжественностью.

И они побежали. А рядом с палатками, рядом с кухонным навесом опять вставали друг за другом тяжёлые грузовики. Из передней кабины опять вылез прораб Веня Капитонов. Только теперь он свистеть, шуметь не стал — зашумели сами петушковцы:

— Вручай, Веня, приз!

— Вы, что ли, победители-то?

— Мы! А вот главное — он! — показали товарищи на Ивана, и прораб сказал:

— Молодчинушка... Сейчас будет и вручение. Только вот примем сперва одну тут делегацию.



— Что за делегацию? Откуда? — вмиг все повернулись к той машине, на которой приехал Веня, но он заторопился ко второму в колонне грузовику.

Сам заспешил, Петушкову кивнул:

— Подключайся! В одиночку здесь я не управлюсь.

И пыльная дверца в кабине грузовика раскрылась, и шофёр оттуда выкатил Вене огромный, пропылённый вещевой узел, потом выпихнул узел поменьше, а следом под общий недоумённый гул передал с рук на руки Вене лет пяти-шести девочку.

— Ого! Вот так делегация! — сказал Иван, а Веня уже вручил ему и девочку, и узлы.

Девочка ухватилась горячей ладошкой Ивану за шею:

— Я, дяденька, не делегация, я — Вера...

— Вера-то чья?

— Дюкина...

— Ого! — повторил, не находя что дальше сказать, Иван и прямо так с узлами, с тяжёленькой, тёплой в охапке девочкой шагнул к Юле под навес.

— Усаживай на скамью пока... Мать её где? — сказала, не совсем ещё всё понимая, Юля.

А там уж, из очередной автомобильной кабины, прораб принимал новый узел, да ещё девочку, да ещё и мальчика.

Тут подхватывать да перетаскивать принялась вся бригада Петушкова.

Носить было чего и было кого! Из самого дальнего в ряду грузовика выпал на подножку чемодан, за чемоданом саквояж, потом оттуда с коллективной помощью выбралась маленькая синеглазенькая женщина с двумя щекастыми близнецами-карапузами на руках.

И теперь Юля, конечно, тоже бросилась навстречу. Она подхватила у женщины одного из малышей. Малыш сначала заревел, но, видя, что мать рядом, что эта незнакомая тётя его не роняет, бережёт, притих.

— Ну и ну! — сказала Юля. — Как это вы с таким детским садом решились на такой путь?

А женщина дошла до навеса, присела устало на скамью.

Она тронула, приласкала свою старшую, по-взрослому

сложившую на коленях ладони, Веру, пересчитала взглядом всех меньших — всю их лесенку, поправила на том, что на руках, близнеце красную шапку и сама как бы пришла в тихое удивление:

— Выходит — решилась... Откладывала сто раз. Батьку нашего тут, наверное, отсрочками с ума свели... Но всё же — смелости набрались.

И вновь, уже с улыбкой, приласкала Веру:

— Моя главная помощница — вот... Но и мир не без добрых попутчиков.

— Попутчики попутчиками, а вы бы хоть отстукали телеграмму! — всё равно ужаснулась Юля.

Веня-прораб засмеялся:

— Они отстукали. Даже «молнию» отбарабанили. Да ведь дальше станции к нам проводов через степь ещё нет. Вот и вышло, что заместо Дюкина их встретил, да и то случайно, я.

— Ничего... Вручим нашему папе «молнию» сами... Будет ему сюрприз. Верно, доча? — опять погладила девочку женщина, а Николка, желая привлечь внимание девочки тоже и к себе, вдруг выскочил:

— У вас — сюрприз, а у нас есть приз!

Выскочил, да и тут же получил быстрого шлепка от Юли, и пока соображал: «За что?», Юля, всё ещё покачивая на руках малыша, Николку собою загородила.

А Иван приотдвинул Николку к своим друзьям-плотникам, а плотники Николку придержали тоже:

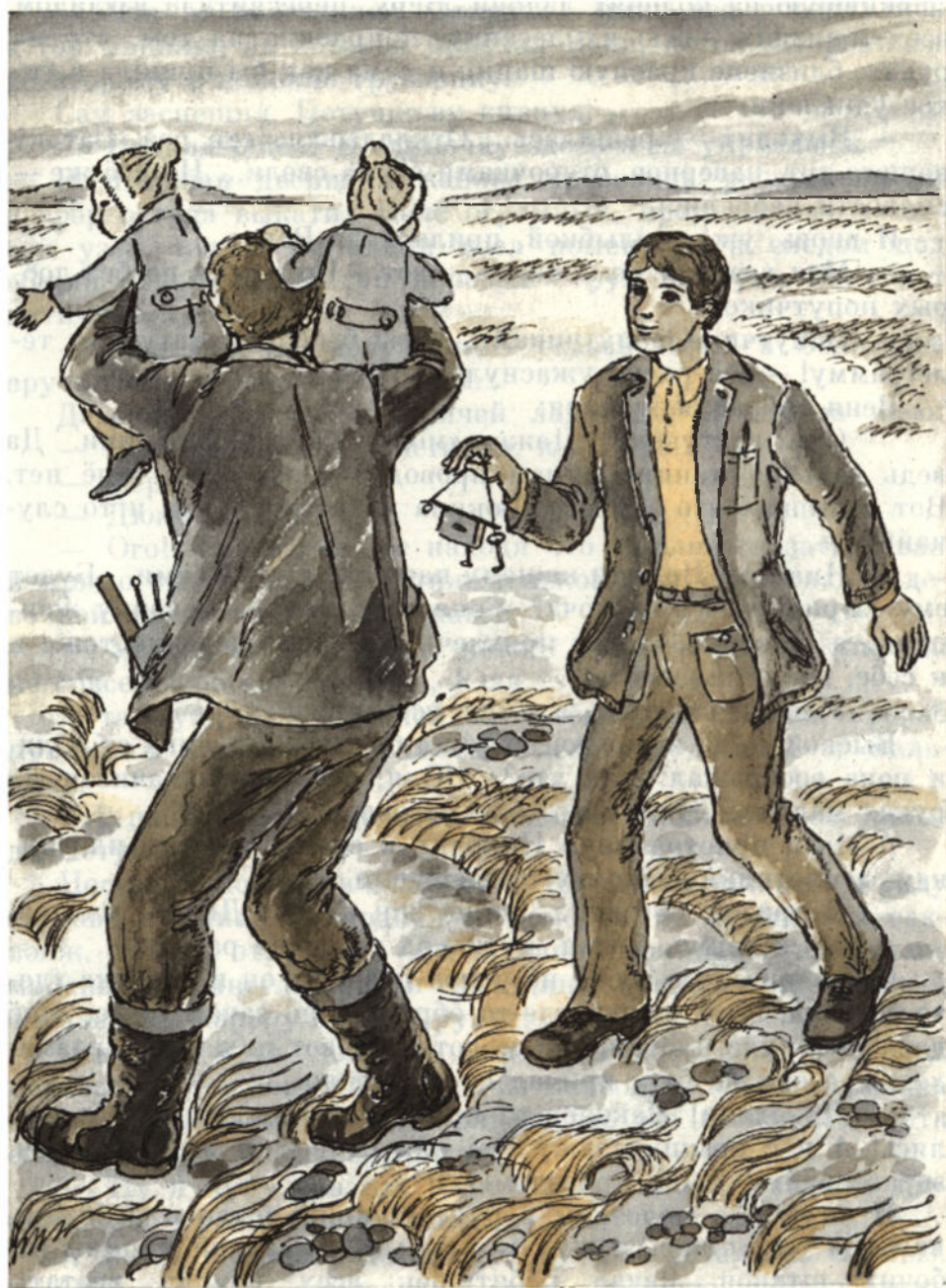
— С призом погоди... Лучше вон глянь: Дюкин мчится.

А тот, и верно, бежал, пути под собой не разбирал.

Он и бригаду с собой не успел позвать: он и Люсика где-то оставил, он и шапку где-то обронил, но зачем-то всё ещё держал в руке плотницкий молоток. И вот нелепо им размахивал, а сам на бегу кричал во всё горло:

— Приехали! Наконец-то приехали! Наконец-то объявились! А я с крыши гляжу: вы или не вы? А это — вы! Ну, здравствуйте! Ну, с приездом!

И он так, с молотком в руке, и полез было к ребятишкам. Да опомнился, сунул молоток в накладной карман рабочих штанов, начал ребятишек всех подряд хватать,





целовать в щёки, устанавливать друг рядом с другом к себе поближе.

Обнял и мать ребятишек. Тут же отобрал у неё близнеца, тоже чмокнул, на вытянутых руках отстранил, взгляделся:

— Это у нас, мать, кто? Александр или Павел? — И сам ответил: — Конечно, Сашка! А Пашка где?

— Вот он твой Пашка, у меня. Вовсю пузыри пускает. Видно, тоже поздороваться спешит... — сказала Юлия, и Дюкин впервые за все тут дни жизни на степной стройке легко рассмеялся. И не очень ловко, но осторожно перевалил с Юлиных рук толстенького Пашку к себе на плечо.

На другом плече Дюкин держал Сашку. И как будто близнецы что могли понять, он им сказал:

— Пошли, пошли... Домой к папке пошли... Дома как следует поздороваемся, дома обо всём поговорим... Я вас там ещё и с Люсиком познакомлю. Я вам всем подарок приготовил, хорошего щенка Люсика.

И, придерживая крепко близнецов, он направился к

бригадной брезентовой палатке. За ним послушно потянулась вся ходячая часть его семейства. Потянулась той вереницей, той цепочкой, какой ходят в незнакомом месте — через поле или через дорогу — не очень ещё смелые гусята за своим надёжным папой-гусакон.

Они уходили, а Ивановы плотники, Иван, Юля, Николка, Веня смотрели на них из-под навеса.

Смотрели, смотрели, сквозь молчание своё услышали, как вдаль стучат, докрывают крышу дюкинцы, как завизжал вдруг радостно, выпрыгнув из травы у дюкинской палатки, Люсик, и вот Иван будто очнулся, перевёл взгляд на тёмный столб навеса, на ключик с замочком, поглядел на Юлю.

А Юля поглядела на Ивана.

Николка в каком-то странном ожидании уставился на обоих: и тут Иван шагнул, закричал, замахал:

— Постой, Дюкин, постой! Куда ребятишек тащишь? Дом твой, Дюкин, теперь совсем в другой стороне.

Дюкин с малышами на руках развернулся, встало всё его семейство. А Иван, ни на кого больше не оглядываясь, не спрашивая даже Вени, сорвал ключик-замочек с гвоздя, огромными прыжками поскакал к Дюкину.

Подбежал и, видя, что руки у Дюкина заняты, сунул ключик-замочек ему в карман:

— Иди, вселяйся! Мы сейчас туда подтащим ваши узлы.

И Дюкин совершенно точно так же, как полчаса тому назад его спрашивал у новых домиков Иван, сам теперь спросил Ивана:

— Ты что? Всерьёз?

А Иван ответил Дюкину по-дюкински:

— Серьёзнее не бывает... Я ведь тоже рабочий человек, я ведь тоже кое о чём имею понятие.

И Дюкин засмеялся — во второй раз:

— Тогда, считай, беру в долг. А долг, Петушков, платёжом красен! Мы будем с тобой, Иван, наверняка добрыми соседями.

— Причём скоро, — уверенно кивнул прораб Веня на тяжёлые, с поклажей смолистых досок грузовики.

— Конечно, скоро! Нас, помощников, теперь вон сколь! — весело указал Николка на малышей — на Сашку да на Пашку, — и теперь засмеялись все. Засмеялась даже белобрысенькая тихая Вера, засмеялись даже ходячие её братишка с сестрёнкой, имена которых пока никто ещё Николке не сказал, но они и сами скажут вот-вот.





СОДЕРЖАНИЕ

ПЧЁЛКА 3

ПРИВЕТ ТЕБЕ, МИТЯ КУКИН! 15

СЕРЕБРЯНАЯ ТРУБА 75

ПОЛОСА НЕВЕЗЕНИЯ 92

ГРУСТНАЯ ЭЛИЗАБЕТ 111

КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК 130



Для младшего школьного возраста

Лев Иванович Кузьмин

КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК

Рассказы и маленькие повести

ИБ № 8023

Ответственный редактор Л. Г. Тихомирова

Художественный редактор И. Г. Найдёнова

Технический редактор Н. Г. Могова

Корректоры Л. А. Лазарева и Т. А. Стадольникова

Сдано в набор 23.05.85. Подписано к печати 21.01.86.

Формат 70×90¹/₁₆. Бум. офсет. № 1. Шрифт обыкновенный.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,7. Усл. кр.-отт. 25,18. Уч.-изд. л. 8,83.

Тираж 100 000 экз. Заказ № 409. Цена 55 коп.

Ордене Трудового Красного Знамени и Дружбы народов

издательство «Детская литература»

Государственного комитета РСФСР

по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР

Росгизполиграфпрома Госкомиздата РСФСР

170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.









Издательство „Детская литература“